Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке http://marshaksamuil.ru/ Приятного чтения!

В начале жизни. Самуил Яковлевич Маршак

(Страницы воспоминаний)

Памяти

Тамары Григорьевны Габбе

ОТ АВТОРА

В этих записках о годах моего детства и ранней юности нет вымысла, но есть известная доля обобщения, без которого нельзя рассказать обо многих днях в немногих словах. Некоторые эпизодические лица соединены в одно лицо. Изменены и кое-какие фамилии.

Столько дней прошло с малолетства.

Что его вспоминаешь с трудом.

И стоит вдалеке мое детство,

Как с закрытыми ставнями дом.

В этом доме все живы-здоровы

Те, которых давно уже нет.

И висячая лампа в столовой

Льет по-прежнему теплый свет.

В поздний час все домашние в сборе:

Братья, сестры, отец и мать.

И так жаль, что приходится вскоре,

Распрощавшись, ложиться спать.

В начале жизни школу помню я...

А. Пушкин

ВРЕМЕНА НЕЗАПАМЯТНЫЕ

Семьдесят лет - немалый срок не только в жизни человека, но и в истории страны.

А за те семь десятков лет, которые протекли со времени моего рождения, мир так изменился, будто я прожил на свете по меньшей мере лет семьсот.

Нелегко оглядеть такую жизнь. Для того, чтобы увидеть ее начало - время детства, - приходится долго и напряженно всматриваться в даль.

Конец восьмидесятых годов. Город Воронеж, пригородная слобода Чижовка, мыловаренный завод братьев Михайловых. При заводе, на котором работал отец, - дом, где я родился.

Собственно говоря, никаких "братьев Михайловых" мы и в глаза не видели, а знали только одного хозяина - флегматичного, мягко покашливающего Родиона Антоновича Михайлова и его сына - воспитанника кадетского корпуса в коротком мундирчике с белым поясом и красными погонами.

Годы, когда отец служил на заводе под Воронежем, были самым ясным и спокойным временем в жизни нашей семьи. Отец, по специальности химик-практик, не получил ни среднего, ни высшего образования, но читал Гумбольдта и Гете в подлиннике и

знал чуть ли не наизусть Гоголя и Салтыкова-Щедрина. В своем деле он считался настоящим мастером и владел какими-то особыми секретами в области мыловарения и очистки растительных масел. Его ценили и наперебой приглашали владельцы крупных заводов. До Воронежа он работал в одном из приволжских городов на заводе богачей Тер-Акоповых. Но служить он не любил и мечтал о своей лаборатории.

Однако мечты эти так и не сбылись.

У него не было ни денег, ни дипломов, и рассчитывать на большее, чем на должность заводского мастера, он не мог, несмотря на то, что отличался неисчерпаемой энергией и несокрушимой волей.

Немногие оказались бы в силах так решительно и круто повернуть свою жизнь, как это сделал отец в ранней молодости.

Детство и юность провел он над страницами древнееврейских духовных книг. Учителя предсказывали ему блестящую будущность. И вдруг он, к великому их разочарованию, прервал эти занятия и на девятнадцатом году жизни пошел работать на маленький заводишко - где-то в Золотоноше или в Пирятине сначала в качестве ученика, а потом и мастера. Решиться на такой шаг было нелегко: книжная премудрость считалась в его среде почетным делом, а в ремесленниках видели как бы людей низшей касты.

Да и не так-то просто было перейти от старинных пожелтевших фолиантов к заводскому котлу.

Много тяжких испытаний и горьких неудач выпало на долю отца прежде, чем он овладел мастерством и добился доступа на более солидный завод.

И, однако, даже в эти трудные годы он находил время для того, чтобы запоем читать Добролюбова и Писарева, усваивать по самоучителю немецкий язык и ощупью разбираться в текстах и чертежах иностранной технической литературы.

Человек он был мягкий, по-детски простодушный, но самолюбивый до крайности, и его гордый, непоклонный нрав мешал ему уживаться с хозяевами в поддевках и сапогах бутылками - людьми невежественными, но требовавшими от своих подчиненных почтительного повиновения. Не ладил отец и с властями предержащими.

Был у него в молодости случай, который надолго сохранился в наших семейных преданиях.

Отец только что поступил на большой завод в одном из губернских городов Поволжья. Встретили его с распростертыми объятиями и сразу же отвели ему квартиру во втором этаже флигеля, расположенного на заводской территории. Кажется, это была первая в его жизни отдельная квартира,

С удовольствием, не торопясь, принялся он разбирать и раскладывать вещи, как вдруг раздался громкий стук в дверь, - это пожаловал не кто иной, как сам полицейский пристав, особа по тем временам довольно значительная. Приехал он якобы для того, чтобы проверить, в порядке ли у отца документы и есть ли у него "право жительства" вне "черты оседлости", где евреям разрешалось тогда селиться.

В сущности, пристав мог бы вызвать отца к себе в полицейский участок повесткой, но предпочел явиться лично, чтобы с глазу на глаз, из рук в руки получить установленную обычаем дань.

Не дождавшись полусотенной, на которую он рассчитывал, величавый пристав потерял терпение и позволил себе какую-то грубость. Отец вспылил, а так как силы он был в то время незаурядной, незваный гость и оглянуться не успел, как очутился на лестничной площадке и от одного толчка полетел вниз по крутым деревянным ступенькам...

Слушать эту историю нам никогда не надоедало. Мы представляли себе вместо того, незнакомого, - нашего воронежского пристава, большого, статного с полукружиями белокурых пушистых усов, шагающего, словно на пружинах, в своей голубоватой офицерской шинели и лакированных сапогах.

И вот такой-то пристав кубарем катился по всем ступенькам, гремя шашкой и

медными задниками калош. Об одном только мы жалели: отчего отец жил в ту пору во втором этаже, а не в третьем или даже в четвертом...

Впрочем, и этот полет пристава со второго этажа мог бы дорого обойтись отцу. Не знаю, какие громы небесные обрушились бы на его буйную голову, если бы хозяин завода не съездил к губернатору, с которым частенько играл в карты, и не убедил его замять это щекотливое дело.

Должно быть, отец был в ту пору необходим на заводе - иначе хозяин вряд ли вмешался бы в эту историю, а скорей всего предоставил бы строптивого мастера его судьбе.

Однако через некоторое время он предпочел расстаться с отцом, поручив заблаговременно своим служащим выведать у него кое-какие из его профессиональных секретов.

На заводе "братьев Михайловых" отец не чувствовал над собой - особенно в первые годы - хозяйской руки. Был он в это время молод, здоров, полон надежд и сил. Да и мать наша, не отличавшаяся крепким здоровьем, была еще тогда довольно весела и беззаботна, несмотря на то, что ее никогда не покидала тревога о детях. Неподалеку от завода простиралось поле, за ним роща, и у матери пока еще хватало досуга, чтобы иной раз под вечер выходить с отцом на прогулку.

Мне дорого смутное воспоминание о молодости моих родителей. Эта счастливая пора их жизни длилась недолго. Правда, отца я и в более поздние годы помню сильным, широкоплечим, жизнерадостным, но глубокая морщинка заботы рано пролегла между его бровей, а рыжеватые усы и маленькая острая бородка поседели задолго до старости. Только густые, черные с блеском волосы, круто зачесанные вверх, ни за что не хотели поддаваться седине.

Мать постарела и поблекла гораздо раньше отца, хоть и была много моложе его. Но, помнится мне, в эти воронежские годы ее синие, пристальные, глубоко сидящие глаза еще смотрели на мир доверчиво, открыто и немного удивленно. Приподнятые и чуть сведенные к переносице брови придавали ее взгляду оттенок настороженности, напряженного внимания.

Может быть, я даже не самое ее помню в эти годы, а побледневшую от времени фотографическую карточку, на которой она казалась такой юной и миловидной в скромной кофточке с модными тогда "буфами" на плечах. Волосы ее, коротко остриженные во время болезни, не успели отрасти, и от этого она выглядела еще моложе, чем была на самом деле. Под фотографией значилась фамилия московского фотографа.

Это была память о тех праздничных месяцах, которые мать провела до замужества в гостях у сестры и брата в Москве. Там-то она и встретилась с моим отцом. Покинув строгую, патриархальную семью, которая жила в Витебске, она впервые попала в столицу, в круг молодых людей - друзей брата, ходила с ними в театр смотреть Андреева-Бурлака, любимца тогдашней молодежи, слушала страстные студенческие споры о политике, о религии, морали, о женском равноправии, зачитывалась Тургеневым, Гончаровым, Диккенсом.

"Давида Копперфильда" она и отец читали вслух по очереди.

Московские друзья брата приняли ее в свой кружок как свою. Показывали ей город, доставали для нее билеты то в оперу, то в драму.

Не часто доводилось ей бывать в театре и на дружеских вечеринках в последующие годы ее жизни, омраченные нуждой и заботой. Вероятно, потому-то она и вспоминала с такой благодарностью немногие дни, прожитые в Москве.

Впрочем, мать моя никогда не была слишком словоохотливой и, в противоположность отцу, не умела да и не любила выражать свои сокровенные чувства. Но и по ее немногословным, скупым рассказам в памяти у меня навсегда запечатлелось, быть может, не вполне отчетливое и точное, но живое представление о молодежи восьмидесятых годов, о московских "старых" студентах в косоворотках и поношенных тужурках, об их шумной, дружной и, несмотря на бедность, по-своему широкой

жизни. Я не запомнил их имен, за исключением одного, которое чаще других упоминала мать. Ни разу в жизни не видел я человека, носившего это имя, да и родители мои никогда больше не встречались с ним. Знаю только, что он был так же беспечен, как и беден. За душой у него не было гроша медного, но это не мешало ему быть душой своего кружка. И фамилия его казалась мне словно нарочно придуманной: "Душман". Я был тогда совершенно уверен, что это не зря.

Воронежские знакомые моих родителей были людьми совсем иного круга и другого возраста. Солидные, семейные, они изредка приезжали к лам из города отдохнуть и пообедать. В таких случаях обедали дольше, чем всегда, и нас, детей, кормили отдельно. По совести сказать, нам были не слишком по вкусу эти приезды. Ради гостей приходилось надевать праздничные костюмчики, в которых нельзя было забираться под кровать, если туда закатывался мяч, или прятаться за большим сундуком в передней. Правда, гости привозили из города конфеты, а иной раз игрушки, но зато без конца приставали к нам с вопросами: сколько нам лет, деремся ли мы друг с другом и кого больше любим - папу или маму.

Уклоняясь от таких никому не интересных разговоров, мы выбегали во двор и любовались лошадьми, которые ожидали у крыльца. Засунув морды до самых глаз в торбы с овсом, они мигали длинными бесцветными ресницами и помахивали хвостами, а мы наперебой расспрашивали кучеров, смирные ли у них лошади или горячие и можно ли покормить их с ладони хлебом.

Каждую лошадь мы сравнивали с нашим Ворончиком, и он всегда оказывался лучше всех.

Это был молодой, норовистый конь, которого хозяин завода предоставил в распоряжение отца, так как жили мы далеко от города.

Ворончиком назвали его, вероятно, потому, что шерсть у него была черная и лоснистая, как вороново крыло, но для меня эта кличка была больше связана с именем города. Ворончик - воронежский конь.

Когда отцу надо было съездить в город, Ворончика запрягали в легкие, узкие дрожки. Правил отец сам. Я и мой брат, который был на два года старше меня, не упускали случая полюбоваться рослым, статным, огнеглазым Ворончиком, когда он легко и весело выносил дрожки из распахнутых ворот. А как гордились мы отцом, который спокойно и уверенно держал в вожжах непокорного, резвого коня.

Я был еще очень мал в это время - и поэтому Ворончик навсегда остался у меня в памяти каким-то сказочным конем-великаном. Он был очень страшен, когда закидывал голову или подымался на дыбы, пытаясь освободиться от стеснявшей его упряжи.

Видно было, что и хозяйский кучер не на шутку побаивался Ворончика. Уж очень осторожно оглаживал он его, ласково приговаривая: "Ну, не шали, не шали, малый!"

Но "малый" был не прочь пошалить. Однажды он чуть не разнес в щепки сани, в которых ехали хозяин завода и кучер. После этого мать каждый раз с тревогой ожидала возвращения отца из города, особенно в те дни, когда он задерживался там дольше обычного.

Мы, дети, в городе бывали редко. Помню только две поездки. Первый раз, когда я еще и говорить как следует не умел, мы ездили смотреть на человека, который ходил над площадью по канату.

В другой раз нас повезли в городской сад, где в круглой беседке играли военные музыканты.

У меня дух захватило, когда я впервые услышал медные и серебряные голоса оркестра. Весь мир преобразился от этих мерных и властных звуков, которые вылетали из блестящих, широкогорлых, витых и гнутых труб. Ноги мои не стояли на месте, руки рубили воздух.

Мне казалось, что эта музыка никогда не оборвется... Но вдруг оркестр умолк, и сад опять наполнился обычным, будничным шумом. Все вокруг потускнело - будто солнце зашло за облака. Не помня себя от волнения, я взбежал по ступенькам беседки и крикнул громко - на весь городской сад:

- Музыка, играй!

Солдаты, продувавшие свои трубы, разом обернулись в мою сторону. А человек, стоявший перед маленьким столиком, прикрепленным к подставке, постучал по краю столика тоненькой палочкой и что-то сказал музыкантам.

Оркестр заиграл еще веселее. Снова солнце выглянуло из-за тучи.

После этого памятного дня я долго упрашивал мать повезти нас еще раз в городской сад.

Но в город повезли не меня, а старшего брата. И не в городской сад, а в больницу. Брат заболел скарлатиной.

До того мы с ним почти всегда болели вместе, и это нам даже нравилось. Мы переговаривались друг с другом или играли в какую-нибудь игру, лежа, сидя, а иногда и стоя в кроватках. Лечить нас приезжал из города щеголеватый военный доктор, фамилия которого была Чириковер.

Я любовался его блестящей формой, его военной выправкой.

Самая фамилия доктора казалась мне звонкой, боевой. "Чириковер" - в этих звуках слышалось треньканье шпор, как и в нарядном слове "офицер".

К словам - даже к именам и фамилиям - дети относятся гораздо серьезнее и доверчивее, чем взрослые. В любом сочетании звуков они предполагают какую-то закономерность. Слова для них неотделимы от значения, а значение от образа.

Но брата лечили в городе какие-то неизвестные мне доктора без фамилий и потому я никак не мог представить их себе.

Мать осталась с братом в городе на все время его болезни.

Помню нашу опустевшую квартиру. Отец работает в небольшой комнате за письменным столом у окна, а я, притаившись в углу, перебираю какие-то вещички - чурки, гвоздики, винтики, пустые коробочки.

Вот этот гвоздик лучше всех - он еще совсем новенький, блестящий, с широкой шляпкой, похожей на солдатскую фуражку. Как он, должно быть, понравится брату! Если играть в войну, такой замечательный гвоздик может быть у нас самым храбрым солдатом или даже офицером.

Отец слышит мое бормотанье, оборачивается и спрашивает, что я делаю. Узнав, что я собираю игрушки к приезду брата, он хвалит меня - ласково и щедро, как умеет хвалить только отец.

После этого я и в самом деле чувствую себя "хорошим мальчиком" и уже ничего не жалею для брата. Я готов отдать ему все свои игрушки - даже граненое цветное стеклышко, даже тяжелую, широкую подкову, которую нашел за воротами.

Признаться, я очень редко бывал "хорошим мальчиком". То ввязывался на дворе в драку, то уходил без спросу в гости, то разбивал абажур от лампы или банку с вареньем. В раннем детстве я не ходил, а только бегал - да так стремительно, что все хрупкие, бьющиеся вещи как будто сами подворачивались мне под руки и под ноги. Был у меня на совести еще один грех: часто, потихоньку от матери, я убегал обедать к рабочим, которые угощали меня серой квашеной капустой и солониной "с душком", заготовленной на зиму хозяевами.

Впрочем, наведывался я к ним не только ради этого лакомого и запретного угощения. Мне нравилось бывать среди взрослых мужчин, которые на досуге спокойно крутили цигарки, изредка перекидываясь двумя-тремя не всегда мне понятными словами. Помню одного из них - огромного, чернобородого, с густыми сросшимися бровями и серебряной серьгой в ухе. Он мне "показывал Москву" сажал к себе на ладонь и поднимал чуть ли не до самого потолка. Говорил этот великан хриплым басом, заглушая все другие голоса, и каждое его словцо вызывало взрыв дружного хохота.

Я был слишком мал, чтобы разобрать, о чем шла речь, но хохотал вместе со всеми.

С такой же готовностью делил я с ними и обед. Они похваливали меня, говорили, что я "енарал Бородин - на всю губернию один", а я уплетал солонину, виновато поглядывая на дверь, - не застигнет ли меня на месте преступления кто-нибудь из моих домашних.

Почему-то я думал в то время, что человеческая душа находится где-то в животе и похожа на маленькую муфту. Сначала душа у всех золотая, а потом понемногу чернеет от грехов.

И я был глубоко убежден, что у старшего моего брата нет на душе ни единого пятнышка, а моя душа-муфта давно уж черным-черна от всего, что я натворил на своем веку...

Впрочем, тогда я еще редко отчитывался перед своей совестью.

Как ни напрягаешь память, добраться до истоков жизни, до раннего детства почти невозможно.

Два-три эпизода, отдельные минуты, выхваченные из мрака, - вот и все, что остается от прожитых нами первых лет.

Отчего же мы так плохо помним свои младенческие годы? Оттого ли, что они были очень давно и заслонены последующими десятилетиями? Но ведь обычно память прочнее удерживает впечатления далекого прошлого, чем отпечатки наших недавних, но уже поздних дней.

А может быть, мы не помним своих первых лет просто потому, что были в эти годы слишком глупы, ничего не видели, не замечали, не понимали?

Нет, всякий, кому приходилось наблюдать ребят двух-трех лет, - я уж и не говорю о четырехлетних, - знает, как они приметливы, сообразительны, догадливы, сколько у них сложных чувств и переживаний.

В сущности, в первые годы детства человек проходит самый трудный из своих университетов. Школьники изучают языки несколько лет, но редко овладевают хотя бы одним из них ко времени окончания школы. А ребенок усваивает всю речевую премудрость - по крайней мере, настолько, чтобы довольно бегло и правильно говорить, - к двум годам. Он изучает язык без посредства другого - знакомого - языка, а наряду с этим приобретает множество самых важных и существенных сведений о мире: узнает на опыте, что такое острое и что такое горячее, твердое и мягкое, высокое и низкое. Но всего, что входит в сознание ребенка за эти первые годы, не перечислишь. Жизнь его полна открытий. Самые заурядные случаи и происшествия повседневной жизни кажутся ему событиями огромной важности.

Так почему же все-таки эти события, глубоко поразившие двухлетнего-трехлетнего человека, только редко и случайно удерживаются в его памяти?

Я думаю, это происходит оттого, что ребенок отдается всем своим впечатлениям и переживаниям непосредственно, без оглядки, то есть без той сложной системы зеркал, которая возникает у него в сознании в более позднем возрасте. Не видя себя со стороны, целиком поглощенный потоком событий и впечатлений, он не запоминает себя, как "не помнит себя" человек в состоянии запальчивости или головокружительного увлечения.

Вот почему, должно быть, мое воронежское детство оставило у меня в памяти только очень немногое, только самое яркое и необычное: первую в жизни музыку, первую разлуку с братом, первый пожар, окрасивший багровым заревом завешенное на ночь окно.

Помню первого увиденного мною в жизни вора, молодого конторщика, который попался на заводе в какой-то мелкой краже. Его не арестовали, не отдали под суд, а только уличили и с позором прогнали с завода. Никогда не забуду, с каким интересом смотрел я издали на этого стриженого, рябоватого молодого человека,

который, нахохлившись, сидел у стола в ожидании попутной лошади. В нем не было ничего особенного, но каким загадочным и необыкновенным сделало его в моих глазах страшное слово "вор"... Вор! Мне казалось, что только у воров бывают такие помятые парусиновые штаны и куртки, такие крупные рябины на щеках, такие красные подбритые затылки.

Еще более ясно и четко припоминаю гостивших у нас на заводе хозяйских племянников - двух больших мальчиков в круглых шапочках с лентами, в белых блузах с откидными матросскими воротниками и якорями на рукавах. Впрочем, большими эти мальчики казались только мне и брату, а на самом деле старшему из них было, по словам моей матери, не больше одиннадцати - двенадцати лет, младшему - лет девять.

В одном из дальних закоулков заводского двора мы строили с ними настоящий завод, чтобы варить настоящее мыло. Раздобыли у рабочих все, что для этого требуется: несколько больших кусков белого, но не слишком свежего бараньего сала, от запаха которого у меня подступала к горлу тошнота, банку едкого щелока, немножко силиката. Оставалось только устроить топку и вмазать над ней в глину старый, ржавый котелок, который мы нашли на дворе среди груды железного хлама.

Гордые тем, что эти нарядные городские мальчики, несмотря на разницу лет, играют с нами, как с равными, мы трудились, не жалея сил.

А так как приезжие ребята боялись испачкать свои новенькие матроски, то всю черную грязную работу они поручили мне с братом. Мы укладывали кирпичи, месили глину. Сначала нам это очень нравилось, но скоро мы оба устали и проголодались.

Вытирая рукавом лоб, брат робко и тихо сказал мальчикам, что дома у нас сейчас завтракают... Но старший из них, рыжий, с веснушками на носу, возмутился. "Подумаешь - завтракают!.. Да как же это можно бросать дело на середине? Если так, то уж лучше было бы и не начинать совсем!"

Когда топка была наконец готова, мальчики велели нам набрать щепок и хворосту и попробовать развести огонь. Но сколько мы ни старались, как ни дули в топку, присев перед ней на корточки, огонь не разгорался. Рыжий послал моего брата на завод за керосином, а мне велел раздобыть еще растопки.

За собой он оставил только самое приятное дело: зажигать спички, которых у него было более чем достаточно - целых два коробка!

Наконец из топки клубами повалил черный дым, щепки и хворост затрещали.

Мы думали, что уж теперь-то мальчики отпустят нас домой. Но рыжий только руками замахал.

- Вон чего выдумали! Пока огонь горит, самое время варить мыло. Маленькие вы, что ли? Такого простого дела не понимаете? А еще заводские!..

Нам стало совестно, и мы снова взялись за работу. Вывалили из мешка в котел сало, вылили из жестянки щелок и присели отдохнуть. Рабочие-то ведь тоже отдыхают. Цигарки сворачивают, курят...

- Помешивать, помешивать надо, а то пригорит! - не переставая подгонял нас рыжий.

Но тут огонь опять погас. Пришлось снова дуть, подкладывать растопку, поливать щепки керосином.

Я поглядел на брата и ужаснулся. Он был весь - с головы до ног - в глине и копоти. Даже на ресницах у него была глина. За версту от него несло керосином и отвратительным до тошноты, протухшим бараньим салом.

Верно, я тоже был хорош в эту минуту, но себя я не видел и только чувствовал, что от усталости у меня подгибаются коленки, а от дыма болят и слезятся глаза.

У нас уже не было никакой охоты варить мыло, - так осточертела нам эта игра. Но все-таки мы продолжали работать без передышки и даже больше не заговаривали о том, что нас ждут дома к завтраку. Да уж какой там завтрак! Мы пропустили и

обед. Наверно, домашние беспокоятся о нас, ищут на заводе и по всему двору.

Где-то вдали прогрохотал гром. Приближалась гроза, а мы все еще возились с топкой.

Не то чтобы мы очень боялись приезжих мальчишек в матросских костюмчиках. Силой они не могли бы удержать нас на работе. Но обоих нас как бы приковали к месту слова рыжего о том, что нельзя же бросать работу на середине, что если так, то уж лучше было бы и не начинать.

Я едва удерживался от слез. У брата тоже кривился рот. Но плакать на глазах у этих больших мальчиков было бы слишком позорно.

И все же мы дали волю слезам, когда нас наконец разыскала мама. Мы бросились к ней с громким ревом, но она в ужасе отшатнулась от нас.

- Что это вы делали? - спросила она.

- Завод строили, а потом варили...

- Варили?.. Что варили?

- Мы-ы-ыло!

- Но как можно было так измазаться? Ведь вот мальчики тоже играли с вами, а почти совсем не выпачкались...

Ни я, ни брат ничего не ответили маме. Мы плакали навзрыд не то от обиды, не то от радости, что наконец-то нас освободили из плена.

Мне шел в это время пятый год, брату седьмой, но нам на всю жизнь запомнился день, когда мы варили мыло.

А еще - где-то в самой глубине памяти - осталась у меня первая дальняя поездка на лошадях.

Гулкие, размеренные удары копыт по длинному-длинному деревянному мосту.

Мама говорит, что под нами река Дон.

"Дон, дон", - звонко стучат копыта. Мы едем гостить в деревню. Въезжаем на крестьянский двор, когда тонкий серп месяца уже высоко стоит в светлом вечереющем небе. Смутно помню запах сена, горьковатого дыма и кислого хлеба. Сонного меня снимают с телеги, треплют, целуют и поят топленым молоком с коричневой пенкой из широкой глиняной крынки, шершавой снаружи и блестящей внутри...

СТАРЫЙ ДОМ В СТАРОМ ГОРОДЕ

Не знаю, что побудило отца покинуть завод братьев Михайловых и Воронеж. Но только помню, что с тех пор началась у нас полоса неудач и непрерывных скитаний.

Почти полгода после отъезда нашего из Воронежа прожили мы у дедушки и бабушки в городе Витебске. Приехали мы туда вчетвером: мама, я, брат и маленькая сестренка, только что научившаяся говорить и ходить. Отца с нами не было - он странствовал где-то в поисках работы.

Я был слишком мал, чтобы по-настоящему заметить разницу между Воронежем, где я родился и провел первые свои годы, и этим еще незнакомым городом, в котором жили мамины родители. Но все-таки с первых же дней я почувствовал, что все здесь какое-то другое, особенное: больше старых домов, много узких, кривых, горбатых улиц и совсем тесных переулков. Кое-где высятся старинные башни и церкви. В каждом закоулке ютятся жалкие лавчонки и убогие, полутемные мастерские жестяников, лудильщиков, портных, сапожников, шорников. И всюду слышится торопливая и в то же время певучая еврейская речь, которой на воронежских улицах мы почти никогда не слыхали.

Даже с лошадью старик извозчик, который вез нас с вокзала, разговаривал

по-еврейски, и, что удивило меня больше всего, она отлично понимала его, хоть это была самая обыкновенная лошадь, сивая, с хвостом, завязанным в узел.

Месяцы, прожитые у дедушки и бабушки, я припоминаю с трудом. Города и городишки, где нам пришлось побывать после Витебска, почти совсем вытеснили из моей памяти тихий дедушкин дом, который мы, ребята, с первого же дня наполнили оглушительным шумом и суетой, как ни старалась мама урезонить и утихомирить нас. Труднее всего было ей справиться со мной. Я так привык к простору нашей воронежской полупустой квартиры, что и здесь, в этих небольших, загроможденных тяжеловесной мебелью и старинными книгами комнатах, пробовал разбежаться во всю прыть, налетая при этом на кресла, этажерки и тумбочки или вскакивая со всего разгона на старый диван, который покорно подбрасывал меня, хоть и стонал подо мной всеми своими дряхлыми пружинами.

Моя бесшабашная удаль приводила маму в отчаянье - особенно по утрам, когда дедушка молился или читал свои большие, толстые, в кожаных переплетах книги, и в послеобеденные часы, когда старики ложились отдыхать. Потревожить дедушку было не так уж страшно: за все время нашего пребывания в Витебске никто из нас не слышал от него ни одного резкого, неласкового слова. А вот сурового окрика нашей властной и вспыльчивой бабушки я не на шутку побаивался. Она горячо любила своих внуков, но свободно и легко чувствовали мы себя только тогда, когда она куда-нибудь уходила и в комнатах не слышно было ее хозяйски-ворчливого говорка и позвякивания ключей, с которыми она почти никогда не расставалась.

Наш приезд заставил потесниться всех обитателей старого дома, где выросла наша мать. Братья и сестра, которые были старше ее, давно уже покинули родительский кров и успели обзавестись собственными семьями. Младшие же пока оставались дома. Их было трое: двое моих дядюшек, еще не вышедших из юношеского возраста, и тетка, учившаяся в то время в гимназии. Мы запросто называли их всех по именам, без добавления почтительного слова "дядя" или "тетя". Да они и сами бы удивились, если бы кто-нибудь вздумал их так величать.

Дядюшки мои готовились к каким-то экзаменам, но особенного рвения к наукам не проявляли. Зато у старшего из них - красивого, сильного юноши с голубыми глазами, мягким голосом и мягкими усиками - было множество разнообразных способностей и увлечений: он мастерил замечательные шкатулки, выпиливал рамки для портретов, играл на трубе и - что поражало меня больше всего - умел никелировать самовары. На моих глазах красный медный самовар становился зеркально-серебряным, и это казалось мне не меньшим чудом, чем сказочное превращение лягушки в принцессу или частого гребешка в лесную чащу.

Я считал своего дядюшку настоящим волшебником, но скоро убедился, что бывают случаи, когда и ему не под силу сотворить чудо.

В дедушкином доме была одна комната, не слишком большая, которая торжественно именовалась "гостиной". Она была тесно уставлена уже порядком поблекшей и потертой плюшевой мебелью. Но главным ее украшением были два совершенно одинаковых узких зеркала, почти доходивших до потолка. Привязанные к железным крюкам в стене веревками, они были слегка наклонены вперед, и от этого отраженная в них комната со всей мебелью как бы уходила куда-то вверх. Мне это очень нравилось: опрокинутая в зеркало гостиная казалась гораздо красивее и таинственнее.

Но скоро я придумал, как сделать, чтобы отражение стало еще интересней.

У каждого зеркала был подзеркальник - полочка из черного дерева вроде столика - с выгнутыми резными подпорками, которые старый столяр, чинивший дедушкину мебель, называл "кронштейнами".

Однажды, когда никого не было в комнате, я ухватился за эти подпорки обеими руками и стал раскачивать зеркало, то прижимая его вплотную к стене, то откидываясь вместе с ним на всю длину веревки.

Оказалось, что на зеркале можно отлично качаться, как на качелях. Да нет, куда занятнее, чем на качелях! Вы раскачиваетесь все быстрее и быстрее, а перед вашими глазами мелькают в зеркале самые разнообразные вещи: висячая лампа со всеми своими блестящими подвесками, кресла, стол с лиловой плюшевой скатертью, бисерная подушка на диване, портрет какого-то старика в раме под стеклом на

противоположной стене.

И вдруг все это понеслось куда-то кувырком. Я лечу вместе с зеркалом и слышу, как оно грохается об пол и рассыпается вдребезги. Подзеркальник тяжело стукается над самой моей головой. В сущности, этот узкий столик, который мог размозжить мне голову, спас меня, мое лицо и глаза от града осколков.

Прикрытый рамой разбитого зеркала, я тихо лежу, боясь пошевелиться, и тут только понемногу начинаю соображать, что я натворил. Если бы я обрушил на землю весь небесный свод с его светилами, я не чувствовал бы себя более несчастным и виноватым.

Вбежавшие в комнату родные - мама, бабушка, дедушка - не сразу обнаружили меня. Когда же они поняли, что я лежу среди груды осколков под тяжелой рамой разбитого зеркала - и при этом лежу совершенно неподвижно, молча, не плачу, не зову на помощь - они так и замерли от ужаса. Медленно и осторожно приподняли раму и все втроем наклонились надо мной.

- Жив! - сказала мама и заплакала. Она подхватила меня на руки и принялась ощупывать с ног до головы.

И тут оказалось, что я цел и невредим, если не считать нескольких царапин от мелких осколков.

Все до того обрадовались, что не только не стали бранить меня, а бросились обнимать, целовать, расспрашивать, не ушибся ли я и не очень ли испугался.

Никому и в голову не пришло наказать меня за мое преступление. А мне, пожалуй, было бы даже легче, если бы я за него как-нибудь поплатился. С грустью смотрел я на осиротевшее второе зеркало, оставшееся таким одиноким в своем простенке.

В глубине души я еще лелеял надежду, что мой дядя, который так ловко превращает медные самовары в серебряные, как-нибудь соберет и склеит все осколки, а потом ловко покроет их своим самоварным серебром.

Но оказалось, что даже и его ловкие руки тут ничего не могут поделать. Правда, он смастерил из самых крупных осколков несколько маленьких зеркал в рамках и без рамок, но все они вместе не могли заменить то большое, которое я разбил.

Так и осталось навсегда в доме у дедушки и бабушки вместо двух парных зеркал одно, как у инвалида остается одна рука или одна нога.

И, вероятно, заходя в свою маленькую гостиную и глядя на это уцелевшее зеркало, старики не раз вспоминали шального, непоседливого внука.

Несколько дней в доме только и было разговору, что о гибели зеркала и о моем чудесном спасении. Потом об этом происшествии перестали говорить. Однако с той поры не только я, но и мама и брат ясно почувствовали, что мы слишком загостились у дедушки и бабушки. Прямо нам этого никто не говорил, но бабушка все чаще и чаще заводила с мамой разговор о том, что наш папа не умеет устраиваться, что он строит воздушные замки и мало думает о семье. Я видел, что маму такие разговоры огорчают, и очень сердился на бабушку.

Мне было непонятно, какие такие воздушные замки строит папа, и очень хотелось увидеть хотя бы один из этих воздушных замков. И все же я чувствовал, что в словах бабушки есть что-то обидное для нашего папы. Почему она говорит, что он мало думает о нас? Ведь мама часто получает от него очень толстые письма, в которых он заботливо и нежно расспрашивает о каждом из нас - о брате, обо мне и даже о нашей сестренке, хотя что интересного можно рассказать о ней, когда она еще такая маленькая!

Обычно эти досадные разговоры прерывал дедушка. Он был не охотник до споров и ссор, не хотел перечить бабушке и поэтому, желая утешить маму, только ласково трепал ее но щеке, как маленькую, и примирительно повторял:

- Ну, ну, душенька... Все будет хорошо... Все будет хорошо!

Но тянулись неделя за неделей, месяц за месяцем, а папа так и не приезжал за нами, не вызывал нас к себе и, должно быть, все еще строил свои воздушные замки, - уж не знаю, сколько он их там успел настроить. Наверно, целую тысячу!

Видно было, что нам долго еще придется прожить в Витебске. И вот дедушка, бабушка и мама решили, что больше нельзя терять время зря и пора усадить моего старшего брата за книги. Еще до приезда в Витебск он умел довольно бегло читать и отчетливо выводил буквы. Давать ему уроки вызвалась теперь наша тетушка-гимназистка. Это было для нее совсем нетрудно: ученик относился к делу, пожалуй, с большей серьезностью и усердием, чем его молодая и веселая учительница, которая сразу же прерывала урок, если к ней приходили подруги, или кончала его раньше времени, чтобы примерить новое платье.

Так как во время уроков я постоянно вертелся около стола и не на шутку мешал занятиям, тетушка решила усадить за букварь и меня. И тут вдруг обнаружилось, что я не только знаю буквы, но даже довольно порядочно читаю по складам. Не помню сам, когда и как я этому научился. Младшие братья и сестры часто незаметно для себя и других перенимают у старших начала школьной премудрости.

Когда наши занятия понемножку наладились, дедушка осторожно предложил добавить к ним еще один предмет - древнееврейский язык. Мама опасалась, что нам это будет не по силам, но дед успокоил ее, пообещав найти такого учителя, который будет с нами терпелив, ласков и не станет задавать на урок слишком много.

И в самом деле, новый учитель оказался добрее даже нашей учительницы-тетки. Та могла, рассердившись, стукнуть своим маленьким кулачком по столу или, блеснув серыми, потемневшими от минутного гнева глазами, сдвинуть над переносицей темные пушистые брови.

А этот, видно, и совсем не умел сердиться. Через день приходил он к нам на урок, худой, узкоплечий, с черной курчаво-клочковатой бородкой. Он долго вытирал у входа ноги в побелевших от долгой службы башмаках, ставил в угол палку с загнутой в виде большого крюка ручкой и, покашливая в кулак, шел вслед за нами в комнаты.

Бабушка, которая ценила в жизни успех и удачу, относилась к нему довольно небрежно. Зато дед встречал его приветливо и уважительно, подробно расспрашивал о здоровье и предлагал закусить с дороги. Но учитель всегда решительно и даже как-то испуганно отказывался, повторяя при этом! что он только что сытно позавтракал.

И правда, мы с братом не раз видели, как завтракает наш учитель. Прежде чем войти в дом, он усаживался на лавочке возле наших ворот и, развязав красный в крупную горошину платок, доставал оттуда ломоть черного хлеба, одну-две луковицы, иногда огурец и всегда горсточку соли в чистой тряпочке.

Не знаю почему, мне было очень грустно смотреть, как он сидит один у наших ворот и, высоко подняв свои костлявые плечи, задумчиво жует хлеб с луком.

В порыве внезапной нежности я встречал его на самом пороге, рассказывал ему все наши новости и даже пытался, хоть и безуспешно, повесить на крюк его старое и почему-то очень тяжелое пальто.

Он ласково гладил меня по голове, и мы шли учиться. Но должен сознаться, что, несмотря на всю свою нежность к нему, уроков я никогда не учил и даже не пытался придумать сколько-нибудь убедительное оправдание для своей лени.

Я попросту рассказывал ему, что готовить уроки мне было некогда: сначала надо было завтракать, потом гулять, потом обедать, потом к бабушке пришли гости и мы все пили чай с вареньем, а потом нас позвали ужинать, а после ужина послали спать...

Слегка прикрыв глаза веками и посмеиваясь в бороду, он терпеливо выслушивал меня и говорил:

- Ну, хорошо, хорошо. Давай будем готовить уроки вместе, пока тебя опять не позвали пить чай с вареньем. Ну, прочитай это слово. Верно! А это? Хорошо! Ну, а

теперь оба слова вместе... Совсем даже хорошо. Умница!

И он щедро ставил мне пятерку, а то и пятерку с плюсом.

На прощанье учитель задавал к следующему разу новый урок, должно быть, уже и не надеясь, что я что-нибудь приготовлю.

И он был прав.

Я не слишком отчетливо запомнил то, что мы с ним проходили, хотя учился у него на круглые пятерки. Зато сам он запечатлелся в моей памяти неизгладимо - весь целиком, со всей своей бедностью, терпением и добротой.

Даже странная фамилия его запомнилась мне на всю жизнь. Тысячи фамилий успел я с той поры узнать и позабыть, а эту помню.

Звали его Халамейзер.

И вот наконец мы дождались приезда отца. Так и не устроившись по-настоящему, он забрал нас с собой, и мы начали кочевать вместе. Переезжали из города в город, прожили год с чем-то в Покрове, Владимирской губернии, около года в Бахмуте - ныне Артемовске - и, наконец, снова обосновались в Воронежской губернии, в городе Острогожске, в пригородной слободе, которая называлась Майданом, на заводе Афанасия Ивановича Рязанцева.

Как ни различны были великорусские и украинские города, в которых довелось побывать нашей семье, - окраины этих городов, предместья, пригороды, слободки, где ютилась мастеровщина, были всюду почти одинаковы. Те же широкие, немощеные улицы, густая белая пыль в летние месяцы, непролазная грязь осенью, сугробы до самых окон зимою.

И квартиры наши в любом из таких пригородов были похожи одна на другую: просторные, полупустые, с некрашеными полами и голыми стенами.

Впрочем, мы, ребята, мало обращали внимания на квартиру, где нам приходилось жить. Целые дни мы проводили на дворе, а в комнаты возвращались только к вечеру, когда уже закрывали ставни и зажигали свет.

Почти все детство мое прошло при свете керосиновой лампы - маленькой жестяной, которую обычно вешали на стенку, или большой фарфоровой, сидевшей в бронзовом гнезде, подвешенном цепями к потолку. Лампы чуть слышно мурлыкали. А за окном мигали тусклые фонари. На окраинных улицах их ставили так далеко один от другого, что пешеход, возвращавшийся поздней ночью домой, мог свалиться по дороге от фонаря к фонарю в канаву или стать жертвой ночного грабителя. Фонарям у нас не везло. Мальчишки немилосердно били стекла, а взрослые парни состязались в силе и удали, выворачивая фонарные столбы с комлем из земли. Где-то в столицах уже успели завести, как рассказывали приезжие, газовое и даже электрическое освещение, а в деревнях еще можно было увидеть и лучину.

Это были времена на стыке минувшего и нынешнего века. Прошлое еще жило полной жизнью и как будто не собиралось уступать место новому. Не только старики, но и пожилые люди помнили ту пору, когда они были "господскими". На скамейке у ворот богадельни сидели севастопольские ветераны, увешанные серебряными и бронзовыми медалями, а по городу ходили, постукивая деревяшками, участники боев под Шипкой и Плевной.

Но понемногу, год от году, все гуще становилась паутина железных дорог. Узкие стальные полосы, проходя через леса, болота и степи, сшивали, связывали между собой дальние края и города. От этого менялось представление о пространстве и времени.

Правда, в наших краях железная дорога все еще казалась новинкой. Поезд называли тогда машиной, как теперь называют автомобиль, и о нем пели частушки:

Д'эх, машина-пассажирка,

Куда милку утащила?

Утащила верст за двести.

Мое сердце не на месте.

Эх, машина с красным флаком.

Как прощались, милой плакал...

Много разговоров было в то время о крушениях на железной дороге, и жители наших мест с опаской доверяли свою судьбу поездам. Недаром на станциях, расположенных обычно вдали от городов, люди провожали отъезжающих, как провожают солдат на войну, - с плачем, с причитаниями.

Самые усовершенствованные новейшие электровозы никого теперь не удивляют. А как поражали нас, тогдашних ребят, впервые увиденные нами паровозы - черные, закопченные, с высокой трубой и огромными колесами. Они вылетали из-за поворота дороги, как сущие дьяволы, сея искры, оглушая людей пронзительным шипением пара из-под колес, бодро и мерно размахивая шатунами. А вагоны - зеленые, желтые, синие, - постукивая на ходу, манили нас в неизвестные края бессчетными окнами, из которых глядели незнакомые и такие разные, не похожие один на другого, проезжие люди.

Не только поезд, но даже и случайно найденный проездной билет сохранял для нас, мальчишек, все обаяние железной дороги, ее мощи, скорости, деловитости, ее строгого уклада. Зеленые! желтые, синие билеты, плотные и аккуратно обрубленные, напоминали нам своей формой и цветом вагоны третьего, второго и первого класса. Мы знали, что билеты эти уже использованы и не имеют никакой силы, но цифры, пробитые в них кондукторскими щипцами, только увеличивали для нас их ценность. Бережно хранили мы каждый билет, на котором черными, четкими буковками были обозначены названия станций:

ОСТРОГОЖСК-ЛИСКИ

ВОРОНЕЖ-ГРАФСКАЯ

ХАРЬКОВ-МОСКВА

И почему-то все эти города казались нам куда интереснее и привлекательнее нашего, хоть и наш уездный город представлялся мне чуть ли не столицей по сравнению с пригородной слободой, где не было ни одного двухэтажного дома, если не считать заводских построек.

А заводы в те времена были так неуютны и мрачны, что мне иной раз бывало до боли жаль отца, когда в утренних сумерках он торопливо надевал свое будничное, старое, порыжевшее пальто и отправлялся на работу - в копоть и грязь, в жар и сырость, в лязг и грохот завода.

НА МАЙДАНЕ

Первое знакомство с новыми местами всегда было для нас, ребят, праздником. Еще не отдохнув с дороги, мы живо обегали свои новые владения, открывая то полуразрушенный Завод, который может служить нам крепостью, то овраг в конце двора, то большой, кипящий своей сокровенной жизнью муравейник за сараем.

Такую радость открытия испытали мы и на этот раз, приехав в Острогожскую пригородную слободу.

У самого дома начинались луга и рощи. На большом и пустынном дворе было несколько нежилых и запущенных служебных построек с шаткими лестницами и перебитыми стеклами. Из окон верхних этажей с шумом вылетали птицы. Все это было так интересно, так загадочно.

А в конце двора прямо на земле лежали полосатые зелено-черные арбузы и длинные, желтые, покрытые сетчатым узором дыни.

В первый раз увидел я их не на прилавке и не на возу, а на земле. Должно быть,

здесь их так много, что девать некуда. Потому-то они и разбросаны у нас по двору.

Я попробовал взять обеими руками самый крупный и тяжелый арбуз, но оказалось, что он крепко держится за Землю.

- Мама! - крикнул я во все горло. - Смотри, арбузы валяются!

Но мама не обрадовалась.

- Не трогай, - сказала она, - это чужие!

- Да ведь двор-то теперь наш!

- Двор наш, а дыни и арбузы не наши.

В тот же день за воротами меня и брата окружила целая орава мальчишек, которые сразу же принялись нас дразнить.

- Где вы живете? - спросил я одного из них.

- Где живете? У черта на болоте! - ответил косоглазый мальчишка и показал мне язык. Другие засмеялись.

- А есть у вас альчики? - спросил косоглазый.

- Что такое альчики?

- Ну, лодыжки.

- А что такое лодыжки? Косоглазый рассердился и плюнул.

- Вот чумовой! Ну бабки!

- Нет, - сказал я. - Мы в бабки не играем.

- А хочешь кобца? - спросил другой мальчишка, широкоплечий и скуластый.

Мне было совестно признаться, что я и этого слова не знаю. Я подумал немного, а потом сказал тихо и нерешительно:

- Хочу.

- Ну, коли хочешь, так получай!

И мальчишка проехался по моей голове суставом большого пальца.

Я закричал от боли. Брат вступился было за меня, но его схватили и для острастки насыпали ему за шиворот несколько горстей земли.

После этого первого знакомства с улицей мы долго не выходили за ворота без старших и водили знакомство только со взрослым парнем - слепым горбуном, который жил по соседству с нами.

Горбун был степенный, серьезный и очень добрый малый. Буйная и озорная молодежь соседних дворов не принимала его в компанию, да и сам он чуждался своих ровесников и проводил целые дни совсем один.

Это был первый слепой, которого я встретил на своем веку.

Помню, после знакомства с ним я крепко-накрепко зажмурил глаза, чтобы представить себе, как должны чувствовать себя слепые и что стоит перед их невидящими глазами.

Долго держать глаза закрытыми я не мог - это было очень, очень страшно!

Но отчего же наш слепой так спокоен, добродушен и приветлив? Чему улыбается он, сидя в ясную погоду на скамейке у своей хаты?

Об этом я часто думал в постели перед сном, перебирая в памяти все, что прошло передо мной за день.

Дома у нас во всех комнатах тушили на ночь свет. Однако я никогда не боялся темноты. В семье нашей я считался бесстрашным малым, удальцом. И если порой мне в душу закрадывался страх, я никому об этом не говорил.

Но вот однажды мне случилось проснуться в самую глухую пору осенней безлунной ночи, когда, как говорится, "хоть глаз выколи". Тут я сразу вспомнил слепого и с невольным страхом подумал: "А что, если я тоже ослеп?" Сердце у меня похолодело.

Повернувшись лицом в сторону, где было окно, я стал пристально и напряженно вглядываться, надеясь увидеть в щели между ставнями хоть слабый просвет или, по крайней мере, не такую уж черную тьму. Нет, куда бы я ни поворачивался, всюду стояла та же густая чернота, в которой глаза становились бессильными и ненужными.

Что же делать? Ждать рассвета? Но когда еще он наступит! Стенные часы в соседней комнате только что мягко и глухо пробили один раз. Либо это час ночи, либо половина какого-то другого часа. Может быть, ночь только начинается? У меня не было ни малейшего представления, в котором часу я заснул и сколько времени проспал... Нет, невозможно ждать так долго!

Ах, как было бы хорошо, если бы удалось разыскать спички, хоть одну-единственную спичку и коробок! Все было бы так просто: чиркнул раз - и узнал бы, ослеп я или нет. Но пройти на кухню, не разбудив кого-нибудь из нашей большой семьи, было невозможно. Да и найдешь ли коробок спичек в полной тьме!

И все же я решился. Тихо ступая босыми ногами и стараясь ничего не задеть по пути, направился я к двери. Но там, где была дверь, оказалась глухая стена. Значит, я заблудился в своей же комнате? Я уже готов был вернуться в постель и как-нибудь потерпеть до утра, но и кровать не так-то просто было найти. Долго блуждал я по комнате, вытянув руки вперед, пока наконец не наткнулся на большой сундук, на котором спал старший брат.

- Что это? Кто это? - забормотал он спросонья.

- Это я, я!

Услышав мой тревожный шепот, брат спросил - тоже шепотом:

- Что ты бродишь? Почему не спишь?

Я сказал, что хочу пить, но не выдержал и тут же решил открыть ему страшную правду. Может быть, от этого мне станет хоть немножечко легче.

- Понимаешь, я, кажется, ослеп... Ничего не вижу!

- Совсем ничего?

- Ни-че-го!

- Ну, так знаешь, мы оба с тобой ослепли! Я тоже ничего не вижу.

И брат засмеялся.

Мне сделалось стыдно. Я сказал, что пошутил, и, найдя свою постель, юркнул с головой под одеяло.

От этого не стало ни светлей, ни темней, но зато тише, теплее, уютнее.

Счастливый тем, что беда миновала, я скоро уснул.

Днем никакие страхи не тревожили меня.

Каждое утро открывало передо мной необъятный день, в котором можно было найти место для чего угодно. Хочешь - носись по двору, пока ноги носят, хочешь - заберись на стропила под самую крышу заброшенного заводского строения и, сидя верхом на балке, распевай во все горло:

Ой, на гори

Та женцй жнуть,

Ой, на гори

Та женцй жнуть,

А по-пид горою

Яром-долиною

Козаки йдуть,

Козаки йдуть!

Голос твой гулко отдается во всех углах пустого здания, ему вторит эхо, и тебе кажется, что твою песню подхватывает целый полк, который на рысях движется за тобой, за своим храбрым командиром.

А то можно спуститься в глубокий овраг, искать клады, рыть пещеры.

Чего-чего не успеешь до обеда, если только тебя не пошлют в лавочку или в пекарню.

А впрочем, бегать в пекарню, зажав в кулаке гривенник, - тоже дело не скучное.

Пекарня у нас турецкая. Черноусый, белозубый пекарь, ловко перебросив с руки на руку огромный каравай с коричневым глянцевитым верхом, кроил его на прилавке широким, острым, как бритва, ножом, похожим на разбойничий.

Весело подмигнув своим карим - в мохнатых ресницах - глазом, он щедро прикидывал к весу лишнюю осьмушку и легким, почти незаметным движением скатывал мне на руки полкаравая с довеском.

И вот уже я иду назад, прижимая к животу теплую, мягкую краюху ситного, и с наслаждением жую пухлый довесок, полученный мною в знак дружбы от черноусого турка.

Но все эти радости разом исчезали, как только нас принималась трепать лихорадка. Нам и в голову не приходило, что зеленые луговины и рощицы, в которых терялись улицы нашей окраины, веяли болотистым дыханием малярии.

Чуть ли не через день метались мы в жару и в ознобе на своих кроватках, а мать терпеливо переходила от одной постели к другой, укрывая нас чем придется - шалями, платками, пальтишками.

- Нет, надо поскорее бежать отсюда, надо перебраться в город, ведь на детях лица нет! - без конца повторяла мать, подавая ужин усталому после заводского дня отцу.

- Скоро, скоро! - отвечал отец, не отрывая глаз от объемистой - должно быть, скучной - книги без картинок, а только с буквами и цифрами.

- Да ты не слушаешь меня, - с горечью говорила мать. - "Скоро, скоро!" - а мы все на том же месте.

Отец смущенно и растерянно снимал очки и смотрел на мать кроткими, какими-то безоружными глазами.

- Ну потерпите еще немного, - говорил он, будто обращаясь сразу ко всей семье. - Еще полгода, ну, самое большее - год, и все у нас пойдет по-другому. Я тут кое-что начал - совершенно новое... И если только дело удастся, - Это будет...

Отец не успевал договорить.

Безнадежно махнув рукой, мать принималась собирать со стола тарелки. Мы видели по выражению ее лица, по усталому взмаху се руки, что она давно уже не верит отцовским обещаниям и надеждам.

А мы верили. Без отцовских надежд жизнь у нас была бы во много раз беднее и бесцветнее. В худшие времена, которые переживала наша семья, мы не сомневались в том, что нас ждет самое счастливое, самое замечательное будущее, И оно уже тут, за порогом.

Мы с братом любили играть в это будущее.

Лежа в постели - один на кровати, другой на сундуке, - мы наперебой сочиняли длинную и необыкновенную историю.

Отцовские опыты, о которых ни я, ни брат не имели ни малейшего понятия, наконец удались. Приходит телеграмма. Отца вызывают в Петербург. Мы второпях укладываем вещи, зовем извозчика - нет, двух! - и катим на вокзал. Носильщики в белых фартуках, с большими бляхами на груди несут наш багаж. Вот мы уже заняли места в зеленом вагоне - родители и младшие дети на длинных скамьях, а мы с братом на коротких по обе стороны окошка. Первый Звонок, второй, третий. Свисток, гудок...

Продолжение этой истории каждый из нас по-своему видел во сне.

Время показало, что отец был прав в своих надеждах в ожиданиях.

Его открытия и опыты не принесли нашей семье богатства, но через несколько лет в ее жизни и в самом деле произошли большие перемены.

Мне же судьба готовила такие неожиданные, почти сказочные приключения, каких я не видел и во сне.

Да и жизнь вокруг меня тоже не стояла на месте. Она держала курс на 1905, а потом на 1917 год.

Наш двор был как будто нарочно предназначен для мальчишеских игр. Два этажа покинутого и запущенного завода, обветшалое здание какого-то склада с шаткими площадками без перил и трясущимися от каждого шага лестницами, овраг в конце двора - все это как нельзя более подходило для непрерывной игры в войну, в индейцев, в пиратов, в рыцарей.

Но была у нас еще одна игра, которую выдумали мы сами, - я и мой старший брат. Впрочем, брат к ней скоро охладел и даже подтрунивал надо мной, когда я упорно и увлеченно продолжал играть в нее один, без его участия.

В этой игре наш двор превращался в какую-то огромную, еще не до конца исследованную страну. Овраг был морем, заросли лопухов и бурьяна вставали непроходимыми лесами. А на всем пространстве двора были разбросаны деревни, сложенные из маленьких дощечек или щепочек, уездные городишки, построенные до мелких обломков кирпичей и, наконец, большие города с рядами домов в четверть или даже в половину кирпича. На подготовку к игре, то есть на постройку всех этих бесчисленных деревень, городишек и городов, соединенных воображаемыми дорогами - проселочными, шоссейными и железными, - уходила добрая половина дня. И только тогда, когда вся страна становилась обитаемой, можно было спокойно приниматься за игру.

А суть ее заключалась в следующем. Где-то в одной из самых глухих деревушек, затерянных среди просторов нашего двора, рождался на свет мальчик, главный герой этой повести-игры. Он подрастал и отправлялся в первое свое путешествие - в ближайший уездный городок. Там он учился, а затем его ждали бесконечные странствия и приключения. Постепенно на его пути вставали все большие и большие города. В конце концов он попадал в столицу, о которой, по правде сказать, у

меня у самого было в то время весьма смутное представление.

Судьба моего героя складывалась каждый раз по-иному. Он становился то путешественником, то великим полководцем, то капитаном корабля, то знаменитым дрессировщиком львов, тигров, пантер, мустангов и орангутангов.

Но во всех этих разнообразных вариантах игры было и нечто общее. Преодолевая препятствия, герой выходил из дремучей глуши, из нужды и безвестности на широкую дорогу жизни.

Очевидно, мне и самому мерещился в это время где-то за тесными пределами нашей слободы - Майдана - еще неизвестный мир: большие города, полная приключений жизнь, в которой человек перестает чувствовать себя существом незаметным и затерянным.

Историю этого человека я придумывал целыми часами, сочинял молча, про себя, и все же не мог обойтись в своей игре без чего-то вещественного - без разбросанных по двору щепочек и кирпичей, без палки, которой я водил по земле, бродя от деревни до деревни, от города до города.

Подшучивая надо мной, брат грозил снять моего героя с конца палки, а иной раз даже делал вид, будто и в самом деле снимает его кончиками пальцев. И - как это ни странно - игра сразу теряла для меня всякую достоверность, и мне уж не к чему было водить по земле палкой, на которой больше не было моего воображаемого человечка...

В сущности, в ту пору я еще не знал никакого мира, кроме нашей слободской улицы да нескольких улиц уездного города, где, запрокидывая голову, я разбирал на вывесках непонятные мне слова: "Нотариальная контора", "Общество взаимного кредита" или "Коммерческие номера". (Кстати, по ошибке, я долго читал "комера" и никак не мог понять, почему на этой вывеске слово "камера" пишется через "о" - "комера".)

Впрочем, город в течение первых лет нашей жизни на Майдане был от нас за тридевять земель.

Жили мы в это время обособленно и одиноко. Матери было не до знакомых, - так погружена она была в свои домашние заботы. Да и у нас, ребят, не сразу нашлись на слободке сверстники и товарищи.

Хоть семья наша подчас нуждалась в самом необходимом и обстановка нашей призаводской квартиры была более чем скромной - несколько венских стульев, столов, дешевых железных кроватей, самый простой буфет и ни одного кресла или дивана, ни одной картины на стенах в просторных и почти пустых комнатах, - все же босоногие ребята с вашей улицы относились к нам, как к барчукам.

Мы не играли ни в бабки, ни в карты, не занимались меной голубей. Да и одевались не так, как все.

Не подозревая, на какое глумление обрекает нас, мама сшила мне и брату по журнальной картинке пальтишки из материи кремового цвета с пелеринками. Много раз становилась она перед нами во время примерки на колени, что-то подшивая и перешивая, то отрывая рукав, то снова приметывая его к плечу.

Наконец пальтишки были готовы. В первый же праздничный день мы вышли в них на улицу, отправляясь в город, и тут только с ужасом почувствовали, до чего мы смешны!

Косоглазый мальчишка из компании, игравшей у ворот в карты, подскочил к нам и, скривив в усмешке щеку, спросил:

- Чего это вы балахончики такие надели?

А другой, взлохмаченный, черный, с лицом, измазанным грязью, - будто он только что умылся землей, - дернул меня за пелеринку и заорал во все горло:

- Ну-ка, скидавай юбку! Я ее бабке нашей снесу!

- Это певчие, певчие из ихней церквы! - послышался чей-то голос. - А ну-ка спойте нам чего-нибудь, копеечку дадим!

Больше мы в этих пальтишках без сопровождения взрослых за ворота не выходили. Но прозвище "певчие" надолго осталось за нами.

Не мудрено, что в первую пору нашей слободской жизни мы почти все дни проводили у себя на дворе и на улицу выглядывали редко.

На дворе-то я и познакомился с первым моим приятелем - слепым горбуном Митрошкой. Ни он у меня, ни я у него никогда не бывали, а встречались мы у плетня, который отделял наш двор от соседнего. Плетень был невысокий - не то что деревянный забор со стороны улицы. Во время наших разговоров Митрошка пристраивался по одну сторону плетня, я - по другую. Мне было тогда лет семь-восемь, а ему не меньше восемнадцати, но мы были почти одного роста. Может быть, потому-то я и считал его своим сверстником и вел с ним долгие душевные беседы обо всем на свете - о мальчишках, которые обижали его и меня, о том, что люди должны обращаться друг с другом по-доброму, по-хорошему и что, может быть, когда-нибудь так оно и будет... Говорили о разных странах, о боге, о земле, о звездах, о хвостатой комете, про которую тогда было так много толков.

- Как ты думаешь, что будет с землей, если она столкнется с кометой?.. - спрашивал я.

- Даст бог, цела останется, - говорил горбун, немного помолчав. - В ней ведь камня да железа много. Она прочная - авось выдержит.

Разговор с горбуном всегда успокаивал мои детские страхи и тревоги. Я верил ему - может быть, потому, что он отвечал на мои вопросы не сразу, а после серьезного раздумья.

А главное, он всегда надеялся, что все обернется к лучшему.

В ненастную погоду горбун сидел где-нибудь в уголке, нахохлившись и плотно сжав бледные губы.

Когда же светило яркое солнце, он обращал к нему свои незрячие глаза, и рябое лицо его светлело, будто улыбалось.

Ходил он медленно, говорил тихо, вкладывая в каждое, слово свой особенный смысл.

По воскресеньям, когда его брат Матюшка, вихрастый, озорной парень, играл со своим приятелем Колькой Гамаки ном в карты, пересыпая разговор нехорошими словами, Митрошка стоял рядом, слушал в сосредоточенно молчал, но вид у него был такой, будто и он участвует в игре.

Жизнь у горбуна была до отупения унылая, скучная, и все же он никогда ни на что не жаловался, не сердился, не выходил из себя.

Его отец, сапожник, человек угрюмый и несловоохотлив вый, вполне оправдывал старую поговорку "пьет как сапожник". Во хмелю бывал буен и частенько бил жену и сына Матюшку смертным боем. Жена металась по двору и выла, а Матюшка одним махом перелетал через забор, спасаясь у нас на дворе.

Один только горбун никуда не бежал, а сидел на завалинке с окаменевшим лицом, с которого никогда не сходило выражение равнодушной покорности. Обычно отец не трогал его, но однажды, взбешенный кротким видом Митрошки, ударил его изо всей силы кулаком по горбу. Митрошка как-то смешно засеменил по земле, пробежал немного, а потом пошел дальше своим обычным степенным шагом,

Таким он и запомнился мне на всю жизнь - тихим, солидным, в поношенном, но чистом коричневом пиджаке почти до колен, в жилетке и брюках навыпуск, в старом синем картузе на слегка запрокинутой из-за переднего горба голове.

Постепенно к нам стали привыкать и те соседские ребята, которые еще недавно не давали нам на улице проходу. Примирению нашему особенно помогло одно неожиданное

происшествие.

Мальчишки на улице поссорились между собой. Перебранки и даже драки возникали у них за игрой в орлянку, в карты или же тогда, когда кто-нибудь переманивал у другого породистых голубей. Не знаю, из-за чего загорелся сырбор на этот раз, но только вся наша улица восстала против двух своих главных коноводов, которым до тех пор беспрекословно подчинялась.

По отдельным выкрикам, доносившимся издалека, мы смогли догадаться, что Гришку - младшего брата Кольки Гамаюна, и Саньку Косого обвиняют в каком-то тяжком преступлении против всего товарищества.

В самый разгар драки калитка наша настежь распахнулась, и к нам во двор заскочили Гришка и Санька, разгоряченные, расцарапанные, в разодранных рубахах. Наш дворовый пес с лаем бросился на них, но брат поймал его за веревку, которой он был привязан, а я успел вовремя запереть калитку. По ней сразу же забарабанила дюжина кулаков. Через минуту несколько лохматых мальчишеских голов показалось над забором.

- Тут они! Тута! - послышались голоса, но перемахнуть через забор среди бела дня мальчишки, как видно, не решились - то ли боялись нашей собаки, то ли ожидали подкрепления.

Знаками показали мы Гришке и Саньке на старый разрушенный завод за оврагом. Там можно было отлично укрыться на тот случай, если вся эта орава все-таки отважится проникнуть к нам во двор. Гришка и Санька поняли нас без слов и пошли за нами по направлению к заводу, то и дело оборачиваясь и угрожая кулаками своим преследователям, которые остались по ту сторону забора.

По шаткой, трясучей заводской лестнице мы взобрались на второй этаж, который давно уже перестал быть вторым этажом, так как пола у него не было и только балки отделяли верхнее помещение от нижнего, загроможденного железным хламом.

На всякий случай мы заперли щелявую дверь на крючок; а сами устроились на балках, с тревогой поглядывая вниз. Да и было чего опасаться. Сорвешься с балки на груду железа в нижнем этаже - и поминай как звали!

При нашем появлении где-то в углу захлопала крыльями, а потом вылетела через окошко какая-то большая птица, ютившаяся под крышей. Всполошилась она до того шумно и неожиданно, что мы все так и замерли на месте. Скоро наш страх прошел, но еще долго не могли мы отделаться от какой-то смутной тревоги, которую нагнала на нас эта жилица заброшенного чердака. Несколько минут мы даже говорили друг с другом шепотом. Но постепенно у нас завязался самый спокойный, мирный разговор. В конце концов брат предложил Гришке и Саньке зайти к нам в дом, пообещав показать им какую-то большую книгу о птицах, в которой были нарисованы голуби всех пород - дутыши, хохлатые, трубастые, бородавчатые и т. д. Гришка и Санька, которые были завзятыми голубятниками, заинтересовались этой книгой.

- Ладно, придем другим разом! - пообещал Гришка.

Нам очень не хотелось расставаться с нашими новыми приятелями, но уговаривать их было бесполезно: нельзя же в самом деле, ходить в чужой дом с царапинами и синяками под глазами и на лбу, в разодранных рубахах и штанах.

На прощанье Гришка поклялся нам, что он будет не он, если завтра же не кликнет на помощь своего брата Кольку и не рассчитается со всеми обидчиками.

Не знаю, как добрались он и Санька в этот вечер до дому, но на другой день прятаться на задворках пришлось уже не им, а тем ребятам, которые загнали их к нам во двор.

В этот день на улицу вышел сам Колька Гамаюн, старший брат Гришки. Он давно уже работал у сапожника подмастерьем, турманов больше не запускал, а в праздничные дни ходил по слободке в пиджаке и красной рубахе навыпуск, с новенькой гармошкой, поблескивающей черным лаком и ярко-белыми клавишами.

Сильнее его не было на нашей улице никого, - разве что Матюшка, брат горбуна. Но с Матюшкой у него давно уже был уговор "не замать" друг друга.

Неторопливо и тяжело ступая, прошелся Колька вместе с младшим братом раз-другой по улице, грозно поглядывая по сторонам, и этого немого предупреждения было вполне достаточно. Мальчишки сразу поняли, что оно значит. Несколько дней после этого они далеко обходили Гришку и Саньку при встрече, потом долго и осторожно мирились с ними и наконец снова признали их власть.

А меня с братом Гришка и Санька взяли с тех пор под свое покровительство.

Скоро нам удалось зазвать их к себе в гости.

Пришли они утром в одно из воскресений, умытые, гладко причесанные, в новых, чистых рубахах, в целых, хоть и заплатанных штанах с карманами, полными жареных семечек.

Мы опять побывали с ними на старом заводе - и наверху и внизу, - а потом Гришка вызвался научить нас ловить на дворе тарантулов. Дело это нехитрое. Надо опустить в норку кусочек воска, привязанный к нитке. Тарантул обязательно за него ухватится, и тут-то наступит самая страшная минута: нужно вытащить живого тарантула из норки и посадить его в спичечную коробку с такой быстротой и ловкостью, чтобы он не успел укусить вас.

Правда, поймать тарантула нам так и не удалось. То ли он в это время спал, то ли отлучился по какому-нибудь делу, а может быть, его никогда и не было в этой норке... Зато Санька Косой обучил нас другому искусству. Он отлично мастерил из папиросной бумаги и пробки парашютики, которые необыкновенно красиво поднимались вверх, пока наконец не исчезали где-то в вышине. Жаль только, что улетавшие парашюты к нам уже не возвращались, а папиросной бумаги и пробок было у нас мало.

В конце концов мы очень подружились с Гришкой и Санькой, на которых даже и прежде, во времена нашей вражды, смотрели с невольным восхищением, такими ловкими, лихими и бывалыми они нам казались. Дружба с ними льстила нашему самолюбию. И когда мама позвала нас пить чай, мы стали горячо убеждать их пойти с нами.

Мама несколько удивилась таким нежданным гостям, но усадила их вместе с нами за стол и дала каждому из нас по блюдечку еще теплого, только что сваренного вишневого варенья.

Гришку и Саньку нельзя было и узнать. Переступив порог нашего дома, эти отчаянные парни, которые на улице за игрой в орлянку так смачно переругивались между собой и так далеко плевались, - вдруг сделались смирными, робкими ребятами к заговорили какими-то не своими, тоненькими голосами.

После чая мы повели их в другую комнату, где они почувствовали себя немного свободнее. Брат показал им книжку с птицами, глобус и географическую карту на стене.

- "Соединенные Штаны", - прочел Санька, и это нам так понравилось, что мы еще долго после этого называли Штаты штанами.

С тех пор мы не раз встречались с Гришкой и Санькой. Но пришло время, и оба они стали редко появляться на улице. Саньку отдали в уездное училище, а Гришку - в ученики к тому самому сапожнику, у которого был подмастерьем его брат, Колька Гамаюн.

Однако наша дружба с ними, хотя и довольно кратковременная, как-то сразу помирила нас со всей улицей. Во всяком случае, мальчишки перестали нас дразнить. А ведь они были великими мастерами этого дела. Помню, какой невообразимый гомон подымали они, когда в нашем пригороде появлялся кто-нибудь из местных юродивых - тихая, робкая, еще довольно молодая женщина, дурочка Лушка, толстая, краснолицая Васька Макодериха, отличавшаяся весьма строптивым и буйным нравом, или же старый Хрок, безбородый, сморщенный, хмурый человечек с нахлобученным на голову по самые брови медным котлом. Прозвище свое он получил из-за того, что, приплясывая, издавал какие-то хриплые звуки, вроде: "Хрок! Хрок! Хрок! Хрок!"

Гулом восторга приветствовали мальчишки юродивых, особенно Хрока.

Даже петрушечника, изредка приходившего на Майдан с пестрой ширмой на спине, не встречали и не провожали таким неистовым гомоном и хохотом, как угрюмого Хрока, когда он принимался топтаться, кружиться на месте, подпрыгивать и приседать. И все это с такой невозмутимой в торжественной серьезностью!

Ребята свистели, улюлюкали, колотили по медному котлу Хрока палками, пока их не разгоняли взрослые, которые любили и жалели "блаженненьких". Из всех калиток подавали юродивым ломти хлеба, бублики, бросали медные гроши и копейки.

Глубокая, дремучая старина окружала мое детство на слободке. Хрока с котлом на голове или Ваську Макодериху так легко можно было бы представить себе на улицах времен Ивана Грозного, а то и в еще более ранние времена. Да и крытые соломой хаты, в которых обитало большинство жителей пригорода, вряд ли намного отличались от жилищ их дальних предков.

НЕДОЛГОВЕЧНЫЕ ЛАВРЫ

Работа на маленьком, почти кустарном заводишке была слишком мелка для отца и не могла утолить его постоянной жажды нового. Он любил изобретать, делать опыты, а должен был с утра до глубокой ночи простаивать у горячих котлов сырого и полутемного завода. Приходил он домой поздно, но пользовался любой минутой отдыха, чтобы раскрыть книгу и уйти в нее с головой. Читал он так самозабвенно, что мать, которая весь вечер ждала его, чтобы поговорить о самых насущных делах - о том, что надо заплатить долг в лавку, сшить детям новые пальтишки к зиме, - не решалась оторвать его от книги. Сама она весь день, безо всякой помощи, стряпала, мыла некрашеные полы, стирала белье, одевала и обшивала пятерых, а потом шестерых ребят. Ей-то уж совсем не удавалось передохнуть и почитать книжку. Даром пропадали ее прекрасные способности, ее редкая память.

Только вечером, под стук швейной машинки, она иногда вполголоса пела, но пела грустные песни.

Помню время, когда работа на заводе приостановилась и отец надолго уехал из дому искать счастья.

Мы одни на пустынном дворе. Ставни у нас наглухо закрыты, да еще приперты железными болтами. Со всех сторон доносится яростный, хриплый лай собак, да изредка за нашим забором постучит колотушкой обходящий свой круг ночной сторож.

Мать, склонясь над шитьем, поет песню про чумака, ходившего в Крым за солью и погибшего в пути, и про его товарища, который пригнал домой пару волов, оставшихся без хозяина.

Я лежу, съежившись, в постели, и слова этой простой песни наполняют мое сердце страхом и тоской. Мне почему-то кажется, что в песне говорится о нашем отце, что это он шел-шел, "тай упав" где-то в дороге, и кто-то чужой принес нам весть о его гибели...

Рано утром во всех наших комнатах открывались ставни. Вместе с темнотой уходили ночная грусть и ночные тревоги, и для нас, ребят, начинался новый день - огромный, как бывает только в детстве, до краев наполненный дружбой, дракой, игрой, беготней...

Но вот наступила для нас новая пора: мне с братом наняли репетитора, веснушчатого гимназиста седьмого - предпоследнего - класса, и мы стали готовиться к экзамену.

Старший брат поступил в гимназию первым. Это был не по летам серьезный мальчик. Задолго до гимназии успел он прочесть множество книг, не истрепав, в противоположность мне, ни одной из них. Книги он бережно хранил в окованном железом сундуке, куда мне не было доступа. Помню, как, забравшись в сундук, брат приводил свои книги в порядок. В эти минуты он напоминал мне пушкинского "Скупого рыцаря". Мы часто с ним дрались из-за книг или еще из-за чего-нибудь, - но вдруг ни с того ни с сего он прерывал самую бешеную нашу схватку совершенно необычным в борьбе приемом: принимался осыпать меня нежными и горячими

поцелуями. Смущенный и обезоруженный, я бывал, конечно, вынужден в этих случаях мириться, так и не додравшись до конца, хоть и чувствовал в братских объятиях не то военную хитрость, не то обидную снисходительность старшего.

Поступив в гимназию, брат как бы совершенно переродился. Это был уже не прежний, не домашний мальчик, не мой сверстник в коротких штанишках и в детской курточке, а гимназист с блестящим гербом на фуражке и с двумя рядами серебряных пуговиц на серой, почти офицерской шинели. Возвращался он из гимназии, как со службы. Обедал один, окруженный всеми домочадцами, и между одной ложкой супа и другой торопливо и взволнованно рассказывал о гимназических порядках, о строгих и добродушных, толстых и тонких учителях в синих сюртуках с золотыми погонами, о товарищах по классу, отличавшихся друг от друга и ростом, и возрастом, и наружностью, и характером.

Я жадно слушал рассказы брата и старался представить себе всех этих незнакомых людей и обстановку, так мало похожую на все, что мне случалось видеть до тех пор.

Каждый день там происходили какие-нибудь события - не то что у нас на Майдане.

Казалось, мой брат, который был старше меня всего двумя годами, уже вошел в настоящую, деятельную жизнь, в мир, где каждый человек на виду и каждый час полон событий и происшествий.

И этот особенный, не всем доступный мир, блещущий форменными пуговицами и лакированными козырьками, назывался гимназией.

А через год после того, как брат надел фуражку с гербом и серую шинель с темно-синими петлицами, должен был держать экзамен и я.

Всю осень и зиму, в дождь и снег, к нам на слободку ходил из города наш репетитор-гимназист, так успешно подготовивший в гимназию брата. Со мной занятия у него шли не совсем гладко. Я был беспечен и рассеян, не всегда готовил уроки, пропускал в диктовке буквы и целые слова, ставил в тетради кляксы. Кроткий и терпеливый Марк Наумович мне все прощал. А я мало думал о том, что только ради меня шагает он каждый день через лужи или снежные сугробы, пробираясь на Майдан и обратно в город, и что родителям моим не так-то легко платить ему за уроки по десять целковых в месяц.

Только иногда среди ночи я просыпался в тревоге и начинал считать остающиеся до экзамена дни. Я давал себе клятву не тратить больше ни одной минуты даром и на следующее утро просыпался, полный решимости взяться наконец за дело как следует и начать жить по-новому. Весь день у меня был расписан по часам.

Но чуть ли не ежедневно происходили события, которые налетали, как вихрь, и разбивали вдребезги это старательно составленное расписание.

Как будто нарочно, чтобы помешать мне, у самых ворот нашего дома останавливался любимец слободских ребят - петрушечник. Мог ли я усидеть на месте, когда над яркой, разноцветной ширмой трясли головами, размахивали руками и со стуком выбрасывали наружу то одну, то другую ногу знакомые мне с первых лет жизни фигуры: длинноносый и краснощекий Петрушка в колпаке с кисточкой, тощий "доктор-лекарь - из-под каменного моста аптекарь" в блестящей, высокой, похожей на печную трубу шляпе, усатый и толстомордый городовой с шашкой на боку... Я знал и все же не верил, что шевелит руками кукол и говорит за них то пискливым, то хриплым голосом этот пожилой, мрачный, небритый человек, надевающий их на руку, как перчатку.

А на другой день ребята соседнего двора запускали большого бумажного змея - да не простого, а с трещоткой. На третий - я как-то нечаянно, между делом, зачитывался "Всадником без головы" или какой-нибудь другой заманчивой книжкой из сундука, который был в полном моем распоряжении до прихода из гимназии брата.

Но вот однажды мой репетитор объявил мне, что должен поговорить со мной серьезно.

Я насторожился. До этого времени серьезные разговоры - о книгах, об экспедициях на Северный полюс, о комете, про которую в те дни так много писали в газетах, - бывали у Марка Наумовича только с моим старшим братом, а со мною он добродушно пошучивал - даже тогда, когда объяснял мне правила арифметики или грамматики. Он был теперь уже учеником последнего - восьмого - класса и обращался со мною, как взрослый с ребенком.

Но на этот раз он уселся за стол не рядом со мною, а напротив меня, и, глядя мне прямо в глаза, спросил:

- Послушай-ка, ты и в самом деле хочешь держать экзамены в этом году? Или, может быть, собираешься отложить это дело на будущий год?..

- Нет, не собираюсь, - как-то нерешительно ответил я, еще не понимая, к чему он клонит.

- Ну так вот что, голубчик. Пойми, что ты, в сущности, не учишься, а только играешь в занятия. Не думай, что Экзамены - это тоже игра. Отвечать ты будешь не так, как отвечаешь мне. Сидеть вот этак, развалясь на стуле, тебе не позволят. Ты будешь стоять у стола, и экзаменовать тебя будет не один, а несколько учителей. Может быть, инспектор и даже сам директор! И на каждый заданный вопрос ты должен будешь ответить коротко, четко, без запинки. Понял?

Я задумался. Нет, отвечать коротко, четко, без запинки я вряд ли смогу...

А Марк Наумович продолжал смотреть на меня в упор, то и дело мигая красными от бессонницы глазами (он и сам в это время готовился к экзаменам, да еще каким - к выпускным, на аттестат зрелости! - и работал чаще всего по ночам).

- Ну да ладно, попробуем! - сказал он уже менее строго. - Только знай: с нынешнего дня и я начну спрашивать тебя, как спрашивают у нас в гимназии. А ты забудь, что перед тобою Марк Наумович, и вообрази, что тебя экзаменует сам Владимир Иванович Теплых или Степан Григорьевич Антонов!

Об этих учителях, приводивших в трепет всю гимназию, я много слышал от брата. Но представление о них никак не вязалось у меня с образом доброго Марка Наумовича, такого худого, веснушчатого, в серой гимназической блузе с тремя пожелтевшими пуговичками по косому вороту и в поношенных серых брюках, из которых он давно уже вырос.

И все же после этого серьезного разговора я почувствовал ту же острую тревогу, которая охватывала меня по ночам при воспоминании о предстоящих экзаменах. Ну, конечно же, я провалюсь! Разве такие в гимназию поступают? Да я, чего доброго, разом позабуду все, что знаю, когда меня вызовут к большому столу, за которым будут сидеть учителя в золотых погонах, инспектор, директор... Может быть, мне и готовиться уже не стоит? Как хорошо было бы сейчас простудиться и заболеть на все время, пока идут экзамены. Это все же лучше, чем провалиться. Да нет, нарочно не заболеешь!..

У меня уже подступали к горлу слезы, когда на пороге неожиданно появился отец, который вчера только вернулся домой на несколько дней и сейчас отдыхал в соседней комнате.

- Простите меня, Марк Наумович, - сказал он, протирая очки. - Конечно, вы абсолютно правы: готовиться к экзамену надо серьезно и основательно. Однако вы нарисовали сейчас такую мрачную картину, что и я, пожалуй, не отважился бы после этого идти на экзамен! Но знаете, дорогой, поговорку: "Своих не стращай, а наши и так не боятся". Уверяю вас, мы выдержим, да еще на круглые пятерки! Я в этом нисколько не сомневаюсь.

- Ах, ты никогда ни в чем не сомневаешься! - с горечью прервала его мать, вошедшая в комнату вслед за ним. - Марк Наумович дело говорит, и я так благодарна ему за то, что он беспокоится о своем ученике. А ты только портишь его. Вот увидишь, теперь он и совсем забросит книжки и уж наверное провалится.

- Нет, - сказал отец, - вы его не знаете!

- Это я-то его не знаю? - удивилась мать.

- Ну, может быть, знаешь, да не веришь в то, что у него есть сила воли. А я верю. Ведь ты не подведешь меня, а?

Я молчал.

До экзамена оставался всего один месяц. Меня перестали посылать в лавку и в пекарню. Сестрам и маленькому брату было строжайше запрещено отрывать меня от занятий. Они проходили мимо моего стола на цыпочках и говорили друг с другом шепотом.

С самого раннего утра я сидел за столом, как приклеенный. Сидел час, другой, третий, пока меня не начинало клонить ко сну.

Помню, как однажды около полудня, когда солнце смотрело с вышины прямо в наши окна, я встал, чтобы размяться немного, и как-то нечаянно заглянул в соседнюю комнату, где сияли белизной и свежестью застланные с утра кровати.

Младшие ребята играли в это время на дворе. Мать ушла на рынок.

"Отчего бы мне не прилечь на несколько минут? - подумал я и сам удивился этой неожиданной мысли. - Все равно за столом я сейчас трачу время даром и только клюю носом".

Никогда еще в жизни не случалось мне ложиться в постель в такую пору дня. Вероятно, от новизны ощущения этот дневной отдых казался мне чертовски соблазнительным.

Поколебавшись немного, я лег на одну из кроватей, сладко жмурясь от солнца, бившего мне прямо в глаза. Но и сквозь плотно закрытые веки я видел солнце. В радужной полутьме так отчетливо доносились ко мне все звуки со двора: протяжный петушиный крик, резвый лай собачонки, звонкие голоса детей... Я заснул крепким, блаженным сном и проспал несколько часов подряд.

Вернувшись домой, мама пожалела меня и не стала будить. Вот, мол, до чего доработался бедный ребенок!

Более шестидесяти лет прошло с тех пор, но в памяти моей этот счастливый и безмятежный дневной сон запечатлелся ярче и сильнее, чем даже экзамены, стоившие мне так много тревог и волнений.

В последние дни перед экзаменом я то и дело переходил от одной крайности к другой: то непоколебимо верил в свой успех (это я-то провалюсь? Нет, такого и быть не может!), то впадал в отчаянье и считал себя неспособным ответить на самый простой вопрос, который зададут мне восседающие за столом экзаменаторы.

Должно быть, я унаследовал в равной мере и счастливую веру в будущее, присущую моему отцу, и вечные тревоги матери.

Когда мною овладевала эта мучительная, бросающая то в жар, то в холод лихорадка тревоги, я с ужасом представлял себе свое возвращение домой после провала на экзамене. Понурив голову, я плетусь за матерью. Избегаю расспросов соседей. Не слушаю утешений отца, который уверяет меня, что в будущем году я уж непременно выдержу на круглые пятерки.

И вот опять тянутся унылые дни за днями, и ко мне по-прежнему каждый день шагает из города Марк Наумович, - если только он не поступит в этом году в университет...

Ну, а если не Марк Наумович, то какой-нибудь другой гимназист-репетитор, которому тоже надо будет платить за меня десять целковых в месяц!

Наконец наступил день Страшного суда - первый день моих экзаменов. Мама надела темное праздничное платье и соломенную шляпку с вуалью, аккуратно причесала меня, одернула на мне курточку, и мы отправились пешком в город.

Ночной дождь сменился ясным солнечным утром. За длинными плетнями и заборами доцветали яблони. Кусты сирени наклонялись, будто предлагая прохожим сорвать густую, тяжелую гроздь.

Мама отломила влажную ветку, и я видел, что на ходу она старательно ищет звездочку с пятью лепестками - "счастье".

На этот раз мама была или, по крайней мере, казалась бодрой и веселой. Против своего обыкновения, она всю дорогу убеждала меня, что я отлично подготовился и непременно выдержу.

Я совершенно иначе представлял себе это шествие в гимназию на экзамен думал, что мама будет беспокойно поглядывать на меня и спрашивать по пути таблицу умножения или "слова на ять". И мне было приятно, что сегодня она такая спокойная я ласковая.

Мы говорили с ней о посторонних вещах, о которых никогда не разговаривали раньше: о том, когда открываются в городе магазины, когда зажигают и тушат на улицах фонари и сколько примерно в Острогожске извозчиков - сто или больше...

Вот наконец и гимназия - белое одноэтажное здание со множеством чисто вымытых, голых окон и с тяжелой входной дверью.

Я много раз до того проходил мимо каменной ограды, которой был обнесен гимназический двор, но никогда еще не открывал этой заповедной двери. Гимназия казалась мне каким-то особым царством, живущим своей загадочной жизнью. У нее была даже своя домовая церковь с маленькой звонницей, в которой так уютно жили колокола и голуби.

Этот майский день, когда мы с мамой без конца ходили взад и вперед по длинному, гулкому коридору или стояли у окна в ожидании минут, решающих мою судьбу, был для меня не только первым днем экзаменов.

Впервые я очутился в большом городском каменном доме, где было столько дверей, окон и просторных комнат с высокими потолками.

В первый раз я видел так много ребят, и почти все они казались такими чистенькими, умытыми, старательно причесанными. А все взрослые, кроме родителей, пришедших с детьми, были здесь одеты в форменные синие сюртуки с золотыми квадратиками на плечах и с двумя рядами блестящих пуговиц. Поодиночке или по двое, по трое, они с деловым видом, словно пчелы из улья, появлялись из какой-то таинственной комнаты, на дверях которой была дощечка с надписью: "Учительская". Одни из этих людей добродушно улыбались - не знаю, нам или солнечному свету, щедро затопившему в это утро весь коридор, другие смотрели хмуро, озабоченно и как будто даже не замечали наших поклонов.

Первый человек, которому я поклонился при встрече, был маленький старичок с лицом, изборожденным морщинками, и реденькой, седовато-рыжей бородкой. Он осклабился и приветливо закивал мне головой. По широким золотым галунам на рукавах я принял его за директора или, по крайней мере, за инспектора гимназии и очень удивился, когда через несколько минут увидел его со шваброй в руках. Позже я узнал, что это был гимназический сторож Родион, надевший по случаю начала экзаменов свою парадную форму.

Понемногу ребята, теснившиеся в коридоре и в небольшой комнате, которая называлась "Приемной", стали знакомиться друг с другом; толстый мальчик в крахмальном отложном воротничке и пестром галстуке бантом, собрав вокруг себя ребят, показывал фокусы: глотал копейки и большие пуговицы, а потом вынимал их из кармана пиджачка или из-за воротника сзади.

Я смотрел на него и думал: какой удивительный мальчик!.. Сейчас начнутся экзамены, а он, ничуть не тревожась, потешает ребят фокусами.

Высокая нарядная дама в широкой шляпе с цветами то и дело строго и настойчиво

звала его к себе:

- Степа!

Он подбегал к ней на минуту, торопливо кивал ей головой, словно что-то обещая, а потом вновь оказывался в толпе ребят, строил невероятные гримасы или жонглировал маленьким костяным шариком, который то вертелся, словно живой, у него на ладони, то внезапно исчезал.

В другом конце коридора увидел я своего старого знакомого - долговязого и вихрастого Сережку Тищенко, сына лавочника с нашего Майдана.

Сережка и в прошлом году держал экзамены, провалился чуть ли не по всем предметам, а теперь рассказывал ребятам о гимназических порядках так, будто был здесь своим человеком.

- Нет, - говорил он, - если по русскому будет спрашивать Сапожник, крышка: хоть кого срежет!..

- Сапожник?.. - испуганно спрашивали ребята.

- Ну, Антонов Степан Григорьевич. Прозвище у него такое, кличка. А вот ежели экзаменовать будет Пустовойтов...

- Это тоже прозвище?

- Да нет, фамилие. Так вот, если спрашивать будет Пустовойтов Яков Константиныч, тогда другое дело. Он даже сам подскажет, коли собьешься. А самый злющий из всех учителей - это, уж конечно, Барбоса.

- И вовсе не Барбоса, а Барбаросса, - поправил его мальчик в бархатной курточке. - Я его знаю, мой брат у него в седьмом классе учится.

- Ну, все равно - Барбоса или Бабароса, а только он такие задачки подбирает, что и семикласснику не решить. Они так и называются: "неопределенные"... Всех до одного проваливает!

Я слушал Сережку, и у меня от страха сосало под ложечкой.

Но вот наконец нас построили в ряды и развели по классам. Сейчас должны были начаться письменные экзамены.

Мама проводила меня до самых дверей, еще раз одернула на мне курточку и пригладила мои волосы.

- Только будь спокоен и не торопись, - сказала она, но я видел, что и сама она не слишком-то спокойна.

В первый раз в жизни сел я за парту - желтую с черной блестящей крышкой и с двумя чернильницами в углублениях. Рядом со мной оказался Сережка Тищенко, а сзади - тот веселый, круглощекий мальчик, который показывал в коридоре фокусы, Степа Чердынцев.

В полуоткрытую дверь еще заглядывали родители. Широкая шляпа Стениной матери совсем заслонила мою маму. Я стал искать ее глазами, но тут дверь плотно закрыли, и все мы почувствовали, что с этой минуты предоставлены "самим себе.

Скоро в класс вошел медленной, тяжеловесной походкой пожилой, темнобородый, широкоплечий человек в очках. Кое-кто из ребят при его появлении встал. Потом, один за другим, поднялись и остальные.

- Сапожник! - шепнул мне в ухо Тищенко. - Беда!..

Учитель привычным, равнодушным взглядом окинул пестрые ряды ребят в курточках, матросках, пиджачках, косоворотках.

- Здравствуйте, - сказал он, четко произнося все буквы, в том числе и оба "в". - Приготовьтесь писать диктант!

И он не торопясь роздал нам листки линованной бумаги.

Мы обмакнули перья в чернила и с тревогой уставились на этого спокойного, медлительного человека в форменном сюртуке.

Не переставая ходить по классу - от двери до окна, от окна до двери и по всем проходам между партами, - он начал диктовать громко и отчетливо, но как бы скрадывая те гласные, в которых было легче всего ошибиться.

- Белка жила в чаще леса...

- "Белка" через "ять" или через "е"? - шепотом спросил меня Тищенко.

- Ять, - так же тихо ответил я.

- А "лес"?

- Тоже.

Не знаю, уловил ли Сапожник этот почти беззвучный шепот, но только вдруг он остановился и сказал спокойно и твердо, обращаясь ко всем нам:

- Предупреждаю: тот, кто будет подсказывать другим или списывать, получит неудовлетворительный балл и не будет допущен к следующему экзамену. Понятно?

В классе и до того стояла тишина, а тут стало еще тише.

Не дожидаясь ответа, Антонов продолжал тем же ровным, монотонным голосом:

- ...На самой верхней ветке дерева... Повторяю: на самой верхней ветке дерева.

- "Верхней" - "ять" или "е"? - еле слышно спросил Тищенко.

Я написал на промокашке букву "е" и с ужасом подумал, что Сережка будет, чего доброго, донимать меня до конца диктовки.

- Сеня спал в сенях на свежем сене... - слышался из дальнего угла гудящий голос Сапожника.

Я знал, что "свежий" и "сено" пишутся через "ять", "Сеня" - через "е". А вот как пишутся "сени"?..

Тищенко упорно шептал что-то в самое мое ухо, но мне было не до него...

"Ять" или "е"? Как будто "е". Нет, конечно, "ять"!

Вдруг я почувствовал, что кто-то сзади дышит мне в затылок. На мгновенье обернувшись, я увидел, что Степа Чердынцев, приподнявшись, заглядывает в мой листок.

Антонов находился в это время далеко от нас, но, должно быть, у него было какое-то особенное чутье. Грузно шагая, направился он прямо в нашу сторону и - как видно, надолго - остановился перед партой, где сидели мы с Тищенко.

Сережка больше ни о чем меня не спрашивал, а Степа оказался хитрее. Он то и дело брал у меня промокашку, потом возвращал ее мне и при этом каждый раз бросал беглый, почти неуловимый взгляд на мой листок.

- Ты что там делаешь?.. - строго окликнул его Сапожник.

Степа с самым невинным видом показал ему промокашку.

- А глаза твои куда глядят?..

Степа затряс головой.

- Ей-богу, я ничего не вижу. Я близорукий. Мне даже очки доктор прописал.

Сапожник недоверчиво посмотрел на него, потом направился к кафедре, взял розовый листок промокательной бумаги и торжественно вручил его Степе.

- Большое спасибо, - сказал Степа.

Снова в классе стало тихо. Слышался только однообразный и непрерывный, как жужжание большой мухи, голос Антонова.

Но вот диктовка кончилась, и Сапожник сразу же стал собирать наши листки. Я отдал свой, так и не успев его проверить, и с тревогой смотрел, как Антонов, аккуратно сложив листки, уносит их из класса со всеми нашими ошибками, кляксами и помарками... Вот он идет по коридору, медленно и важно, будто сознавая, что держит в руках наши судьбы.

Теперь уже ничего не вернешь. Ну, будь что будет!

Я бросаюсь к маме и пытаюсь припомнить все слова, в которых сомневался. Но одни из них совершенно вылетели у меня из головы, а в других мама и сама как будто не слишком уверена. Может быть, она даже и не задумалась бы, если бы ей пришлось написать с разбегу какую-нибудь фразу, в которой встречаются эти слова. А тут ее берет сомнение. Она пытается припомнить, сообразить, что как пишется, а мне уже не до диктовки.

Пора думать о следующем экзамене - письменном по арифметике. Говорят, экзаменовать будет Макаров - тот самый злющий учитель, которого Тищенко называл "Барбосой", а другой мальчик "Барбароссой".

Ждать нам приходится очень долго, - так, по крайней мере, кажется мне. Мама уговаривает меня съесть бутерброд, который она принесла из дому, но я только головой мотаю.

- Нет, нет, потом, после экзамена!

И вот мы снова в том же классе, где писали диктовку. Опять закрываются плотные двери, отделяя нас от всего мира. Но теперь рядом со мной уж не Сережка Тищенко, а спокойный, неторопливый голубоглазый мальчик в косоворотке. Нам с ним не до разговоров, но я все же спрашиваю:

- Как тебя зовут?

- Зуюс.

- Это что же - имя такое?

- Нет, фамилия. Имя - Константин.

Но вот в класс входит Барбоса или Барбаросса, высокий, с огненно-рыжей бородой. Борода его сверкает золотом в ярком солнечном свете, как и пуговицы вицмундира.

На этот раз ребята все сразу поднимаются с мест.

Макаров милостиво кивает головой, разглаживает пышную бороду и, бодро постукивая мелом, пишет на классной доске две задачи: одну для тех, кто сидит на партах справа, другую - для сидящих слева. Мне выпала на долю задача, в которой надо разделить груши между четырьмя братьями так, чтобы первому досталось больше, чем второму, второму больше, чем третьему, и так далее. А Костя Зуюс должен решить задачу про купца, который купил и продал сколько то цибиков чая.

Разные задачи даются нам, должно быть, для того, чтобы мы не списывали у соседа по парте.

В первые минуты я ровно ничего не могу сообразить, хоть с Марком Наумовичем не раз делил между братьями и яблоки, и груши, и орехи. Но тогда я решал такие задачи не торопясь, не волнуясь, а теперь особенно раздумывать некогда: того и гляди, у тебя отберут листок, решишь ли ты задачу или не решишь.

А тут еще перед самой твоей партой торчит этот рыжебородый учитель, так похожий на генерала, портрет которого я видел в цветном календаре. Он благодушно улыбается в бороду, и все же под его взглядом мысли путаются у меня в голове. Мой сосед по парте тоже, видно, никак не может подступиться к своей задаче. Он ерзает, сопит, и уши у него горят от волнения.

Наконец Макаров отходит от нашей парты и, бережно расправив фалды сюртука, величаво усаживается на кафедре.

Я облегченно вздыхаю и только теперь принимаюсь за дело, забыв и учителя, поглядывающего на нас с высоты своей кафедры, и соседей по парте, и быстро бегущее время. Наконец мне как будто удается справиться с задачей: верно или неверно, а груши между братьями поделены. Прежде чем приняться за проверку, я оглядываюсь по сторонам. Все ребята в классе еще сидят, хмурые и озабоченные, низко наклонившись над своими листками. Степа Чердынцев, чуть привстав, просит у соседа, сидящего впереди, промокашку. Макаров, задумчиво поглаживая бороду, смотрит с кафедры в окно, за которым живет своей жизнью еще безлюдный в эти часы сад со всеми своими птицами, шмелями, жуками, стрекозами.

Меня охватывает тревога. Неужели я и в самом деле первым решил задачу? Уж нет ли где-нибудь ошибки? А времени остается, должно быть, совсем немного. С бьющимся сердцем, уже торопясь, я снова складываю, множу, вычитаю, делю... Нет, как будто все правильно - ответ получается тот же, что и в первый раз. Должно быть, верно! Смотрю - и у Кости Зуюса лицо прояснилось, даже появилась на губах улыбка.

- Решил? - спрашиваю я тихонько.

- Ага! - отвечает он одним дыханьем.

А Матвей Иванович уже отбирает листки у тех, кто довел дело до счастливого конца, и у тех, кто запутался во всех этих грушах и цибиках.

Ну, если только я не провалился по русскому письменному, значит, у меня все в порядке. Правда, самое трудное еще впереди. Завтра на устных экзаменах спрашивать меня будет не один учитель, а целая комиссия в сюртуках с золотыми пуговицами и отвечать надо будет быстро, отчетливо, без запинки...

После тревожной ночи мы опять отправились с мамой в гимназию.

В этот день ребят экзаменовали не в классе, а в просторном зале, где со стен смотрели на нас изображенные во весь рост царь в военной форме с широкой голубой лентой через плечо и царица в высоком жемчужном венце вроде кокошника, в нарядном платье, похожем на сарафан, и тоже с лентой через плечо.

Нас, ребят, по очереди вызывали к длинному, покрытому тяжелым сукном столу, за которым среди учителей в синих вицмундирах сидел сам директор, безбородый, моложавый, в темно-зеленом форменном фраке без наплечников. Во всей его повадке было нечто такое, что отличало его от учителей. Он держался свободнее, проще и смотрел на нас как будто приветливее.

И все же я с трепетом ждал той минуты, когда меня вызовут. Как это я буду стоять совсем один перед огромным столом, за которым сидит столько взрослых, важных людей в форме!

В ту пору я был очень мал ростом, - меньше всех ребят, которые пришли экзаменоваться. А тут, в этом высоком зале с большими окнами, с большими дверями и портретами, я почувствовал себя совсем затерянным. Да меня, чего доброго, и не услышат, когда я начну говорить!..

Поглядывая по сторонам, я видел, что и другие ребята боятся не меньше, чем я. Один только Степа Чердынцев и здесь не унывал: он показывал ребятам, как шевелить ушами. Для этого он морщил лоб и старательно поднимал и опускал брови, пока уши у него и в самом деле не начинали слегка шевелиться. В другое время ребятам, наверно, очень понравился бы новый фокус и каждому захотелось бы обучиться этому искусству, но сейчас Степа не имел никакого успеха. Мельком

поглядев в его сторону, ребята отворачивались и опять впивались глазами в стол, покрытый зеленым сукном.

Мне тоже было не до Степиных ушей. Очередь уже дошла до буквы "м". Передо мной пошел отвечать высокий, стриженный наголо мальчик в длинных брюках, в косоворотке, подпоясанной шелковым шнурком и вышитой по вороту и подолу. Когда назвали его фамилию - Малафеев, - он тайком, торопливо перекрестился, одернул косоворотку и с какой-то отчаянной решимостью ринулся к столу.

Антонов скрипучим, безучастным голосом предложил ему прочесть вслух сказку "Лиса и Журавль".

Малафеев взял раскрытую книгу и медленно, по складам, будто ворочая камни, прочел несколько строк.

- Довольно, - прервал его Сапожник. - Скажите мне, какого рода существительное "журавль".

- Женского, - нерешительно ответил Малафеев.

- Почему женского?

- Потому что кончается на мягкий знак. Директор улыбнулся.

- Но ведь слово "учитель" тоже кончается на мягкий знак. Или, скажем, слово "парень". Что же, по-твоему, и "парень" женского рода?

- Нет, мужеского, - виновато сказал Малафеев. В голосе его уже слышались слезы.

- Ну, ладно, не робей! - приободрил его директор. - Со всяким случается... Прочитай-ка лучше какое-нибудь стихотворение.

- Какое? - спросил Малафеев.

- Да какое хочешь.

Малафеев помолчал, подумал немного и вдруг загудел, словно заиграл на дудке, не повышая и не понижая голоса и не останавливаясь на знаках препинания:

"Школьник". Стихотворение Некрасова.

Ну пошел же ради бога

Небо ельник и песок

Невеселая дорога

Эй садись ко мне дружок...

Тут он перевел дух и опять понесся вперед без удержу:

Ноги босы грязно тело

И едва прикрыта грудь

Не стыдися что за дело

Это многих славный путь.

- Славных путь! - поправил Антонов.

- Славных путь! - повторил Малафеев.

Я слушал его и думал: ну разве так читают стихи? Вот я бы им показал, как надо читать!

И вдруг мне страстно захотелось, чтобы меня поскорее вызвали. На вопросы я как-нибудь отвечу, - только пускай дадут мне прочитать стихи...

В эту минуту громко - на весь зал - прозвучала моя фамилия.

Хорошо, что именно в эту минуту, пока еще мой задор не успел остыть.

Не помню, о чем спрашивали меня Сапожник и другой учитель с длинными, опущенными книзу усами, но только отвечал я на этот раз и в самом деле без запинки, как никогда не отвечал Марку Наумовичу. А когда дело дошло до стихов, я, не задумываясь, сказал, что прочту отрывок из "Полтавы" "Полтавский бой".

- Пожалуйста, - согласился директор. Я набрал полную грудь воздуха и начал не слишком громко, приберегая дыхание для самого разгара боя. Мне казалось, будто я в первый раз слышу свой собственный голос.

Горит восток зарею новой.

Уж на равнине, по холмам

Грохочут пушки. Дым багровый

Кругами всходит к небесам

Навстречу утренним лучам.

Стихи эти я не раз читал и перечитывал дома - и по книге, и наизусть, хотя никто никогда не задавал их мне на урок. Но здесь, в этом большом зале, они зазвучали как-то особенно четко и празднично.

Я смотрел на людей, сидевших за столом, и мне казалось, что они так же, как и я, видят перед собой поле битвы, застланное дымом, беглый огонь выстрелов, Петра на боевом коне.

Идет. Ему коня подводят.

Ретив и смирен верный конь,

Почуя роковой огонь,

Дрожит. Глазами косо водит

И мчится в прахе боевом,

Гордясь могучим седоком...

Никто не прерывал, никто не останавливал меня. Торжествуя, прочел я победные строчки:

И за учителей своих

Заздравный кубок подымает...

Тут я остановился.

С могучей помощью Пушкина я победил своих равнодушных экзаменаторов. Даже Сапожник - Антонов не сделал мне ни единого замечания и не предложил разобрать отдельные слова поэмы по родам, числам и падежам. Длинноусый, похожий на украинца учитель, сидевший рядом с ним, сказал "славно", а директор подозвал меня, усадил к себе на колени и стал расспрашивать, какие еще стихи я люблю и знаю наизусть.

Я сказал, что больше всего люблю пушкинского "Делибаша" да еще "Двух великанов" Лермонтова и с полной готовностью предложил тут же прочитать оба стихотворения.

Директор засмеялся.

- В другой раз! - сказал он. - А сейчас беги к своим, скажи, что получил пятерку.

Не помня себя от радости, я выбежал в коридор.

Домой мы ехали на извозчике. По дороге остановились у магазина и купили гимназическую фуражку - темно-синюю, с блестящим козырьком и белым кантом. Тут же купили и герб с буквами "О. Г." над двумя скрещенными лавровыми веточками из какого-то светлого, серебристого металла. Мы сразу же прицепили герб к фуражке, и я вернулся к себе на Майдан гимназистом. Отец и старший брат увидели нас из окна и бросились нам навстречу. По моей гимназической фуражке они сразу поняли, что дело в шляпе - я выдержал!

- На круглые пятерки? - спросил отец.

- На круглые!

- Ну, а что я говорил? - сказал он, победоносно улыбаясь.

Сестры и младший брат стали по очереди примерять мою новенькую фуражку, но мама отняла ее и спрятала в шкаф.

А мне так хотелось показаться в ней соседским ребятам.

- Погоди, - сказала мама. - Мы еще не знаем, принят ли ты в гимназию.

- Как это не знаем? Ведь у меня круглые пятерки!..

Увы, через несколько дней выяснилось, что мама сомневалась не зря.

Первые мои "лавры" оказались недолговечными. Какая-то непонятная мне "процентная норма" закрыла для меня доступ в гимназию. Приняли и Степу Чердынцева, и Сережку Тищенко, и Саньку Малафеева, и Костю Зуюса, а меня не приняли.

Своими руками сняла мама герб с моей фуражки и спрятала у себя в шкатулке.

ДОСУГ ПОНЕВОЛЕ

Погоревав немного, я по-прежнему втянулся в будничную слободскую жизнь - дрался с босыми мальчишками, пускал змея, смотрел, как наши голубятники швыряют в небо своих турманов. Гимназия в городе, учителя, директор, так обласкавший меня на экзамене, - все это отошло куда-то далеко и стало казаться не то сном, не то страницей из прочитанной и полузабытой книги.

И вдруг я опять увидел всех учителей гимназии во главе с директором. И где увидел? У нас, на Майдане, за стеклами новенькой витрины фотографа, который, видимо, недавно поселился на слободке.

Среди множества довольно бледных фотографических карточек "визитного" и "кабинетного" формата, изображавших молодых людей с выпученными глазами и застывших в оцепенении девиц со взбитыми прическами и буфами на плечах, была выставлена большая групповая фотография, на которой красовался весь педагогический совет гимназии во главе с директором. Учителей фотограф расположил тремя рядами. Я стал внимательно разглядывать эту поразившую меня фотографию. Тут оказался и классный наставник моего брата - латинист Владимир Иванович Теплых, которого я видел мельком в гимназическом коридоре перед экзаменом, и рыжебородый Барбаросса, и Сапожник, и толстый географ.

Я не верил своим глазам. На этот раз я мог спокойно, в упор рассматривать этих необыкновенных людей, от которых зависела судьба стольких ребят.

А нельзя ли купить фотографию? Наверно, она стоит, - если только продается простым смертным, - никак не меньше ста рублей!

Я отважился зайти к фотографу и робко справился о цене. Рыхлый и бледный человек спокойно и деловито ответил мне:

- Один рубль.

Ах, это было очень, очень дешево - двадцать или тридцать учителей гимназии в полной парадной форме - за один рубль!.. Но и такая цена была мне не по карману. Гривенник еще можно было попросить у мамы на тетради или на воскресное гулянье в саду, но где достать десять гривенников - рубль, целый рубль?

Вовсе не надеясь раздобыть такую крупную сумму, я как-то рассказал отцу, что видел у фотографа на карточке всю гимназию, и, если бы мне посчастливилось найти на улице рубль (ведь это же бывает - некоторые находят, правда?..), я бы непременно купил себе такую карточку.

Отец ласково потрепал меня по голове, порылся в карманах и, не говоря ни слова, высыпал мне на ладонь целую горсть монет, медных и серебряных. Я пересчитал их: ровно рубль, копеечка в копеечку.

В тот же день большая фотография была изъята из витрины и перешла в мои руки. Я не был принят в гимназию, - зато сама гимназия оказалась у меня дома. Жаль только, что некоторые учителя вышли на фотографии без ног, то есть ноги их были заслонены головами незнакомых мне учителей, сидевших в нижнем ряду.

Я решил поправить дело и, вооружившись ножницами, аккуратно вырезал и директора Владимира Андреевича Конорова, и латиниста Владимира Ивановича Теплых, и математика - Барбароссу, и географа Павла Ивановича Сильванского. Кому не хватало ног, я приделал их, пожертвовав нижним рядом учителей. Меня мало смущало то, что на брюках у них оказались чьи-то головы или части голов. Зато все теперь были с ногами.

Вырезанных учителей я положил в коробку и на досуге; разыгрывал целые сцены из жизни гимназии, которая так незаслуженно отвергла меня, несмотря на все мои пятерки.

Постепенно и я - по примеру старшего брата - пристрастился к чтению. Доставать книги было нелегко, и читал я все, что попадалось под руку. Не меньше двадцати раз подряд перечел роман Жюля Верна "Север против Юга", где. изображались подвиги, поражения и победы северных американцев в борьбе за освобождение негров.

Снабжал меня книгами наш сосед, сивоусый, строгий и рассудительный красильщик, у которого был большой выбор третьесортных, изобилующих дешевыми приключениями "романов" из приложений к мещанскому журналу "Родина". Сосед очень гордился своими книгами, от которых за версту несло мышами и затхлостью. И до сих пор журнал "Родина" и даже фамилия его редактора-издателя Каспари неразрывно связаны у меня в памяти с этим едким и душным запахом.

Другим моим поставщиком литературы был молодой парень с красивым, по-девичьи нежным лицом, похожий на царевича из тех русских сказок, которые он сам же мне давал. Целые дни проводил он в лабазе своего отца или дяди за конторкой, на которой, как на аналое, всегда лежала раскрытая книга. От книги молодой Мелентьев отрывался только тогда, когда нужно было отсыпать покупателю-извозчику овса или ячменя. Пощелкав на счетах и получив деньги, он опять садился на свой высокий табурет и погружался в роман, пьесу или в сборник сказок.

Читая запоем книги, он зачастую не знал имени автора и даже заглавия, так как обложки большинства его книг были потеряны.

Таким образом, не имея ни малейшего представления, что за "роман" дал мне Мелентьев, прочел я знаменитого "Рокамболя" и еще десяток переводных книжек с иностранными именами героев, с тайными интригами, заговорами, погонями и убийствами,

Но в том же лабазе я впервые нашел среди книг "Тысячу и одну ночь", и с тех пор волшебные сказки Шехерезады овеяны для меня едва уловимым запахом овса и ячменя.

Внимательно перебирая воспоминания, связанные с первыми годами жизни, видишь, как глубоко и сильно врезается в нашу память каждое услышанное в детстве слово.

Мне было лет шесть-семь, когда я впервые, прочел или услышал басню Крылова "Волк и Кот".

Волк из лесу в деревню забежал,

Не в гости, но живот спасая...

До сих пор я отчетливо помню - будто сам, своими глазами видел - этого забежавшего в деревню волка. Помню и высокий дощатый забор, на котором сидит кот. Низко наклонив серую с черными полосами голову, мудрый и спокойный, он деловито разговаривает с усталым, затравленным волком, за которым по пятам гонятся охотники.

И все соседи, чьи имена называет кот (Степан, Демьян, Трофим, Клим), кажутся мне знакомыми людьми, живущими на Майдане где-то поблизости от нас.

Ведь в басне так и сказано: "Беги ж, в_о_н т_а_м живет Трофим". Это "вон там" придавало особую реальность словам крыловского кота.

Сквозь каждое слово, как сквозь прозрачное стекло, ребенок видит названный предмет, видит живую и подлинную действительность.

Даже сюжеты книг, прочитанных в более позднем возрасте - лет в десять одиннадцать, - переплелись у меня в памяти с реальными событиями нашей жизни.

В эти годы скитавшийся по Руси в поисках работы отец познакомился где-то с обедневшим помещиком, отставным подполковником Адамом Николаевичем Лясковским. Имение его было заложено-перезаложено. И вот отец обнаружил по каким-то признакам в этом имении железную руду. У помещика не было и сотни рублей на то, чтобы начать изыскания. Отец на последние свои деньги привез к нему горных инженеров, серьезно заинтересовавшихся этим делом.

Когда же отец навестил Лясковского через несколько месяцев, он нашел у него за богато накрытым столом целую ораву прихлебателей, которые называли теперь отставного подполковника не иначе, как "пане полковнику" или "господин полковник". Самолюбивый и вспыльчивый отец сразу же перессорился со всей этой разношерстной и подозрительной компанией дельцов, и расчетливому хозяину пришлось потратить немало усилий, чтобы успокоить и умиротворить отца, который в то время все еще был ему нужен.

Месяц тянулся за месяцем. Изыскательские работы в имении шли полным ходом. И отец ни на минуту не терял уверенности в том, что его труды будут в конце концов достойно вознаграждены, хотя у него не было не только официального договора с подполковником, но даже и простой записки, подтверждающей щедрые обещания Лясковского.

А между тем вся наша семья жила в это время только отцовскими надеждами да еще той скудной помощью, которую оказывали ей родственники. Я был тогда слишком мал, чтобы запомнить все подробности этой печальной истории. Но у меня остались в памяти два письма - гневные строки отца, в которых он спрашивает у Лясковского: "Адам Николаевич, где бог, где совесть, где честь?" - и спокойно скептический ответ подполковника: "Ах, Яков Миронович, бог высоко, совесть далеко, а честь - это дело растяжимое".

Помню, как тяжело пережила наша семья полное крушение всех надежд. А мне было обидно, что мой умный и видавший виды отец позволил так легко обмануть себя и теперь никакими усилиями не может добиться самой простой правды и справедливости.

В эти дни я зачитывался "Дубровским". И как-то незаметно в сознании моем слились помещик Троекуров с помещиком Лясковским, а Владимир Дубровский - с моим отцом. Правда, отец не стал атаманом разбойников и ничем не отомстил вероломному подполковнику, но события, происшедшие в действительности, и эпизоды пушкинской повести так тесно переплелись между собой, что и до сих пор живут в моей памяти рядом.

ГИМНАЗИЯ

Совершенно неожиданно пришла весть о том, что я принят в гимназию. Не бывать бы счастью, да несчастье помогло. В один и тот же день за какую-то провинность из мужской гимназии исключили ученика, и из женской - ученицу.

Оба они были не то в последнем, не то в предпоследнем классе.

И вот вакансия, освободившаяся в мужской гимназии, была предоставлена мне. На фуражке у меня снова заблестел герб, и я среди учебного года очутился за партой.

Мне купили такой же мохнатый, покрытый седой барсучьей щетиной ранец и такую же серую шинель с двумя рядами светлых пуговиц, как у моего старшего брата, и я был бесконечно горд, когда мы с ним - два гимназиста - шагали рядом по дороге в город, разговаривая об учителях, о товарищах по классу, о школьных новостях. Моя шинель была новее, герб и пуговицы блестели ярче, но зато у брата был вид старого, заправского гимназиста. Верх его фуражки был нарочно примят по бокам, как у Марка Наумовича, а у меня он пока что упрямо топорщился. Да и все гимназическое обмундирование еще выглядело на мне, как на вешалке в магазине. С первого же взгляда можно, было узнать, что я новичок.

В классе я встретил много старых знакомых - тех самых ребят, которые держали со мной вместе экзамены. Почти все они очень изменились за эти несколько месяцев - подросли и утратили что-то свое, домашнее, детское.

Длинный, сухопарый Сережка Тищенко усвоил повадки матерого, стреляного волка, побывавшего во многих переделках. Учителей называл он - конечно, за глаза - уменьшительными именами или прозвищами: "Пашка", "Яшка", "Швабра", "Губошлеп". Отвечать выходил нехотя, неторопливо и, получив очередную двойку, медленно, вразвалку возвращался на место, задевая ногами и локтями сидевших за партами товарищей или строя такие невообразимые рожи, что даже самые примерные из ребят не могли не прыснуть громко, на весь класс.

Степа Чердынцев тоже за это время вполне освоился с гимназической обстановкой и чувствовал себя в классе как дома: на уроках играл со своим соседом в шашки, а на переменах выменивал почтовые марки разных стран на перья, а перья - на марки.

На нем уже не было пышного, пестрого галстука бантом и нарядного отложного воротничка. В гимназической форме он казался еще толще, чем в прежнем пиджачке и коротких штанишках, был коротко острижен и от других ребят отличался только тем, что из рукавов серой блузы выглядывали у него белые накрахмаленные манжеты с блестящими запонками.

Как я узнал позже, манжеты он носил не из одного щегольства: они были нужны ему для фокусов и для шпаргалок.

К счастью для меня, моим соседом по парте оказался спокойный и толковый Костя Зуюс, с которым я впервые встретился на письменном экзамене по арифметике.

Он подробно рассказал мне, что прошли в классе с начала учебного года по каждому предмету, и самым обстоятельным образом познакомил меня с гимназическими порядками и правилами.

Если бы не Костя, я бы не раз стоял в углу. Накануне того дня, когда по расписанию была у нас география, он заботливо напоминал мне, чтобы я не забыл принести атлас. Всех, кто являлся в класс без атласа, Павел Иванович неукоснительно ставил к стенке и записывал в классный журнал.

Атлас был очень велик и не влезал в ранец, а носить его под мышкой было неудобно. В ненастную погоду его мочил дождь, в мороз из-за него коченели руки. Но Павел Иванович был неумолим.

Перед началом урока этот грузный человек, казавшийся нам настоящим великаном, бесшумно, чуть ли не на цыпочках, обходил ряды парт в поисках очередной жертвы.

Ребята, уже прошедшие осмотр, пытались иной раз передать из-под парты свои атласы тем, у кого их не было, но зоркий Павел Иванович рано или поздно обнаруживал этот маневр и выстраивал вдоль стены добрую половину класса.

Впрочем, такое наказание сулило и некоторые выгоды: стоящих в углу наш географ почти никогда не вызывал отвечать урок. Этим пользовались самые заядлые лодыри. Угол спасал их от двойки.

Павел Иванович учил нас географии несколько лет, пока прямо из гимназии не угодил в сумасшедший дом. Говорили, что на одном из уроков он взобрался на подоконник и пытался пролезть сквозь форточку. После долгой борьбы сторожа сняли его с подоконника и увезли на извозчике.

Больше мы никогда его не видали.

В первые годы моего пребывания в гимназии нашим классным наставником, переходившим с нами из класса в класс, был Владимир Иванович Теплых, о котором я столько слышал от старшего брата,

И до сих пор я бережно храню в своей памяти навсегда отпечатавшийся в ней облик этого особенного, не совсем понятного, но по-своему необыкновенно привлекательного человека.

Как сейчас, вижу его высокую, стройную фигуру в отлично сшитом форменном сюртуке. Белоснежно поблескивает грудь его крахмальной рубашки, безупречно свежи воротничок и манжеты. Светло-русые волосы уже слегка поредели, но зачесаны так, что лысина почти не видна, хоть он и любит шутливо повторять латинскую поговорку: "Calvitium non est vitium sed prudentiae judicium". - "Лысина не порок, а свидетельство мудрости".

Легкими и уверенными шагами поднимается он на кафедру, свободным, красивым движением раскладывает книги и открывает классный журнал. Даже отметки он ставит красиво - изящным тонким почерком. А как умеет он радовать нас метким, шутливым словцом, веселой, чуть лукавой улыбкой в те минуты, когда хорошо настроен. От этой улыбки и сам он светлеет - светлеют глаза, волосы, острая золотистая бородка - да и вокруг как будто становится светлей.

Ни один учитель не умел так держать в руках класс, как умел Владимир Иванович. Он никого не ставил в угол, не оставлял без обеда, но ученики боялись его проницательных, слегка прищуренных глаз, его холодного и спокойного неодобрения больше, чем ворчливой ругани Сапожника или визгливых и резких выкриков Густава Густавовича Рихмана, учителя немецкого языка.

До моего поступления в гимназию любимцем Владимира Ивановича был мой старший брат. Как бы по наследству его расположение перешло и ко мне.

Он преподавал нам с первого класса латынь, а с третьего и греческий язык, но, в сущности, ему, а не учителям русского языка - Антонову и Пустовойтову - обязаны мы тем, что по-настоящему почувствовали и полюбили живую, некнижную русскую речь.

Не много встречал я на своем веку людей, которые бы так талантливо, смело, по-хозяйски владели родным языком. В речи его не было и тени поддельной простонародности, и в то же время она ничуть не была похожа на тот отвлеченный, малокровный, излишне правильный, лишенный склада и лада язык, на котором объяснялось большинство наших учителей.

Отвечая ему урок, мы чувствовали по выражению его лица, по легкой усмешке или движению бровей, как оценивает он каждое наше слово. Он морщился, когда слышал банальность, вычурность или улавливал в нашей речи фальшивую интонацию. В сущности, таким образом он постепенно и незаметно воспитывал наш вкус.

Не знаю, был ли Владимир Иванович хорошим педагогом в общепринятом значении этого слова. Занимался он главным образом со способными и заинтересованными в изучении языка ребятами. К тупицам и неряхам относился с нескрываемым пренебрежением. Зато лучшие ученики шагали у него семимильными шагами. Они изучали латинский и греческий языки как бы на фоне истории Рима и Греции, - так увлекательно рассказывал Теплых в промежутках между грамматическими правилами о героях Троянской войны, о походах Юлия Цезаря, об одежде, утвари и обычаях древних времен.

Однажды он явился к нам на урок географии вместо отсутствовавшего в этот день Павла Ивановича. Он не стал проверять, есть ли у нас атласы, никого не вызвал к доске а рассказал нам о своем путешествии в Японию.

Уж одно то, что рассказывал он о далекой, почти сказочной стране не с чужих слов, должно было покорить нас, ребят уездного городка, которым даже поездка в Москву или в Харьков представлялась далеким и заманчивым путешествием. Мы читали книги о дальних плаваньях, но впервые видели перед собой человека, который сам пересек на корабле синие пространства, занимавшие столько места на нашей карте.

Незадолго перед тем я и Костя Зуюс не отрываясь прочли "Фрегат "Палладу" Гончарова и даже проследили по карте весь путь этого корабля. И вот теперь Владимир Иванович так приблизил к нам все, о чем мы узнали из книги, словно подал надежду, что и нам доведется когда-нибудь постранствовать по белу свету.

Среди учителей Теплых держался особняком. Он почти не скрывал своего презрения к Сапожнику - Антонову, к недалекому и невежественному Густаву Густавовичу Рихмауу, к словоохотливому и самодовольному географу, а водил дружбу только со скромным учителем рисования Дмитрием Семеновичем Коняевым, которого большинство сослуживцев, в сущности, и за преподавателя не считало, - экий, подумаешь, важный предмет - рисование!

С этим мягким, простодушным, чуждым служебного честолюбия и далеким от всяких дрязг человеком, которому судьба помешала стать художником, Владимира Ивановича связывали какие-то общие интересы и вкусы. Они вместе ездили на охоту или на рыбную ловлю.

Но чаще всего Владимир Иванович бывал один.

Почему этот одаренный, тонкий, знающий себе цену человек жил безвыездно в нашем уездном городе, отказываясь от перевода в другие города, где ему предлагали должность инспектора и даже директора, - понять трудно.

Нас, учеников, пленяли его гордость и независимость. Когда к нам в гимназию пожаловал однажды сам попечитель Харьковского учебного округа, впоследствии товарищ министра, тайный советник фон Анреп во фраке с большой орденской звездой, - Владимир Иванович продолжал как ни в чем не бывало свой очередной урок и будто нарочно вызывал к доске самых посредственных, не блещущих способностями и познаниями учеников. Фон Анреп, долго сохранявший на своем лице благосклонную улыбку вельможи, в конце концов нахмурился и важно удалился, не сказав ни слова.

Теплых был загадкой для всего города. Толки и пересуды сопровождали каждый его шаг. Рассказывали, будто изредка он заходит в городской клуб и в полном одиночестве выпивает бутылку шампанского или рюмку коньяку с черным кофе. Но ничего более предосудительного в его поведении обнаружить не могли.

Очевидно, он не был по своему происхождению аристократом (об этом свидетельствовала его сибирская, крестьянская фамилия), но как не похож он был на других учителей провинциальной гимназии, которые давно опустились, забыли о своих университетских годах и стали чиновниками и обывателями.

До поступления в гимназию я слышал много разговоров о его строгости, о том, что заслужить у него пятерку труднее, чем Георгиевский крест на войне.

Но, видно, моему старшему брату и мне повезло. Нас обоих он называл "триариями" (отборными воинами римской армии), редко вызывал к доске, а с места спрашивал только тогда, когда долго не мог добиться от других верного ответа. В таких случаях он шутливо говорил: "Res venit ad triarios!" - "Дело доходит до триариев!"

Каждую субботу я приносил домой заполненную и подписанную им страницу ученического дневника, пестревшую тщательно, с удовольствием выведенными пятерками, и даже пятерками с крестом.

Меня - в отличие от старшего брата - он обычно звал "Маршачком".

- А ну-ка, пусть Маршачок расскажет нам про двух Аяксов, - Аякса Теламоновича и Аякса Оилеевича!

Героев "Илиады" я знал в то время не хуже, чем многие из нынешних ребят знают наших чемпионов футбола, хоккея, бокса. Я мог, не задумавшись, сказать, кто из ахеян и троянцев превосходит других силой, весом, ловкостью, кто из них первый в метании копья и кому нет равного в стрельбе из лука.

Еще в младших классах гимназии я перевел стихами целую оду Горация "В ком спасение" - "In quo salus est".

До сих пор помню несколько строчек из этого перевода:

Когда стада свои на горы

Погнал из моря бог Протей,

В лесных деревьях, бывших прежде

Убежищем для голубей,

Застряли рыбы. Лани плыли

По Тибру. Тибр поворотил

Свое течение и волны

На храм богини устремил

И памятник царя...

Так сумел заинтересовать нас Владимир Иванович древними языками и античной литературой - предметами, столь ненавистными большинству учеников классических гимназий.

Но, как ни уважали мы нашего латиниста, мы все же порядком побаивались его.

Гораздо проще и свободнее чувствовал себя наш класс на уроках Якова Константиновича Пустовойтова, который временно заменял у нас Антонова. Он еще не дослужился до чина, и потому на его золотых наплечниках не было ни одной звездочки. Говорил он грудным, хриплым, словно надсаженным голосом. Часто покрикивал на ребят и давал им самые невероятные прозвища - по большей части из Достоевского - "Свидригайлов", "Лебезятников" и проч. Однако все мы чувствовали, что на самом-то деле наш мрачноватый Яков Константинович сердечен и незлобив и только из какой-то понятной детям застенчивости, а может быть, и ради самозащиты скрывает свою душевную мягкость и доброту. Роста он был небольшого, и синий форменный сюртук его казался непомерно длинным, даже как будто мешал ему ходить.

Не знаю, сколько лет было в это время Пустовойтову. Должно быть, он был еще довольно молод, но уже производил впечатление неудачника, который давно махнул на все рукой и не надеется больше ни на какое будущее.

Но почему-то таких, не слишком счастливых людей, ребята особенно любят.

Мне нравился его добродушно-ворчливый юмор, его хмурая улыбка и глуховатый голос. Я жалел его до глубины души, когда он приходил в класс на пять минут позже обычного, чем-то огорченный (видимо, какими-нибудь объяснениями с директором или инспектором). Не раз хотелось мне выразить ему свою нежность, но для этого не было подходящего случая.

Однажды весной вся наша гимназия отправилась за город на традиционную прогулку со своим духовым оркестром, с корзинами, полными бутербродов, и сверкающими на солнце большими самоварами. Все мы - от директора до самого младшего приготовишки - были в том счастливом, приподнятом настроении духа, когда исчезают преграды между людьми разных возрастов и положений.

В чуть позеленевшей загородной роще я отозвал Пустовойтова в сторону и после минутного молчания сказал ему, задыхаясь от волнения:

- Яков Константинович, я вас люблю!

Он пожал плечами, чуть-чуть улыбнулся и ответил мне своим негромким, с легкой хрипотцой голосом:

- Ну и что же нам теперь делать?

Я смутился. Он заметил это и ласково похлопал меня по плечу.

- Ладно, ступайте, ступайте, побегайте!

Так окончилось первое мое объяснение в любви. Пробыл у нас в гимназии Яков Константинович недолго и ушел как-то незаметно.

Из учителей, у которых не было чина и звездочек на погонах, запомнился мне еще один. Это был преподаватель Уездного училища, явившийся к нам однажды на урок вместо заболевшего математика Макарова,

Ребята знали, что Барбароссы в этот день не будет, и, как всегда на "пустом" уроке, уютно занялись самыми разнообразными делами: одни читали книгу, другие играли в перышки, третьи, сдвинув парты, проделывали между ними замысловатые акробатические упражнения. Как вдруг дверь открылась, и на пороге появился толстый, тяжело отдувающийся надзиратель, по прозвищу "Самовар". Он велел всем сесть на свои места и привести в порядок парты, а потом громогласно объявил, что заниматься с нами будет в этот день Серафим Иванович Кобозев.

В ответ послышался гул неодобрения, но быстрый и энергичный Самовар сразу же водворил порядок. Едва он удалился, в класс вошел, сияя улыбкой, завитой и напомаженный молодой человек в синем вицмундире, ничем не отличавшемся от вицмундиров наших гимназических учителей. Только пуговицы и золотые наплечники были у него, пожалуй, поярче и поновее.

Ученики с насмешливым любопытством разглядывали Этого белокурого франта с задорным хохолком и шелковистыми усиками.

Большинство гимназистов смотрело свысока на "уездников" - учеников местного Уездного училища, которые нередко появлялись на улицах босиком, без формы с дешевыми желтыми гербами на помятых картузах. Из них чаще всего выходили приказчики, конторщики, счетоводы.

Да и преподаватели Уездного училища казались гимназистам птицами невысокого полета.

При появлении Кобозева всего лишь пятеро или шестеро ребят встало с мест; остальные далее не пошевелились или только слегка приподнялись.

Серафим Иванович покраснел, но не сделал никому замечания. Взойдя на кафедру, он уселся поудобнее, - будто он и в самом деле был учителем гимназии, - и спросил, что нам на сегодня задано.

- Ничего не задано! - коротко и хмуро ответил за всех Тищенко.

Кобозев недоверчиво пожал плечами.

- Ну, а что же вы в последнее время проходили?

- Пройденное повторяли! - глухо отозвался Колька Дьячков, сосед Тищенко по парте.

Кобозев нахмурился.

- Ах, вот как? Пройденное? Ну так не угодно ли вам, господа, решить задачку? На пройденное...

Этого никто не ожидал. Кажется, еще никогда не бывало такого случая, чтобы учитель, временно заменяющий другого, давал классу письменную работу.

- Итак, - продолжал Серафим Иванович, - раскройте, пожалуйста, свои тетрадки и запишите условие.

И он принялся диктовать медленно и четко.

У нас не было ни малейшего желания решать задачу, но и не хотелось ударить в грязь лицом перед этим красавчиком из Уездного училища. Чего доброго, он и пришел-то к нам только для того, чтобы посрамить ненавистных гимназистов.

Ребята перестали перешептываться и склонились над тетрадками. Каждый понимал, что если мы не решим задачи, это будет позором не только для нашего класса, но и для всей гимназии.

На первый взгляд задача казалась довольно простой, но почему-то, как я ни бился над ней, она мне не давалась. Несколько раз перечитывал я условие и с каждым разом все больше запутывался.

Искоса поглядел я по сторонам. Все сидели озабоченные и смущенные. Только Степа Чердынцев беспечно посматривал в окно: списывать было ему пока еще не у кого. Даже наш лучший математик, маленький Митя Лихоносов, сердито покусывал ноготь большого пальца, вместо того чтобы выводить у себя в тетрадке всегда послушные ему цифры.

- Что же вы задумались, господа? - слегка усмехаясь, спросил Кобозев. Кажется, я вас немного озадачил этой задачкой? Ну, подумайте, подумайте!

И, довольный своей шуткой, он сошел с кафедры и, поскрипывая новыми, до блеска начищенными ботинками, прошелся между рядами парт.

- А вы как будто и вовсе сложили оружие? - спросил он, остановившись у парты, за которой сидели Дьячков и Тищенко.

- Да уж очень трудная! - пробормотал Дьячков.

- Ну, разве? - удивился Серафим Иванович. - А вот у нас в Уездном и потруднее задачки решают!

Это уже был прямой вызов.

Мы представили себе, с каким удовольствием будет рассказывать этот белокурый Серафим своим "уездникам" о том, как оскандалились у него на уроке гимназисты.

Все головы снова склонились над тетрадками. Перья заскрипели. Однако никто не поднимался с места, чтобы положить на кафедру тетрадку и сказать: "Готово, Серафим Иванович! Я решил".

Но вот в конце класса послышалось какое-то движение. Стукнула крышка парты. Мы разом обернулись: неужели у кого-то задача решена?

Да, так и есть. Толстый Баландин поднял руку и весь тянется к Серафиму Ивановичу.

Кобозев, слегка улыбаясь, шагнул в его сторону,

- Додумались? Вот и прекрасно!

Баландин смущенно потупился.

- Да нет, выйти позвольте!

В классе засмеялись. Усмехнулся и Кобозев.

- Ступайте! - сказал он небрежно. - А вы, господа, поторапливайтесь. До звонка уже немного осталось.

Но нас всех словно кто-то заколдовал. Мы делили, множили, вычитали, складывали, но все без толку.

И вот в ту минуту, когда мне наконец со всей ясностью представилось решение, по всему коридору пронесся длинный дребезжащий звонок.

Серафим Иванович взял с кафедры классный журнал, озарил нас лукаво-приветливой улыбкой и сказал на прощанье громко и отчетливо:

- До свиданья, господа! Советую вам еще разок повторить пройденное!

Я дружил почти со всеми ребятами моего класса, особенно с мечтательным, голубоглазым Костей Зуюсом, но чаще всего проводил свободное от уроков время в обществе старшеклассников и чувствовал себя среди них довольно свободно. Это была молодежь конца девяностых годов, много читавшая и горячо споривша. Молодые люди зачитывались Добролюбовым и Чернышевским, ревностно занимались естествознанием, рассуждали о смысле жизни и о призвании человека. Но все это не мешало им веселиться, петь хором студенческие песни и даже влюбляться. Вот только танцы были у них тогда не в моде: это считалось делом легкомысленным и даже пошлым. Ведь они были люди серьезные! Про одного из них - рослого, широкоплечего и скуластого восьмиклассника Вячеслава Лебедева - в городе рассказывали, будто он для изучения анатомии вырыл ночью на городском кладбище скелет. Не знаю, были ли справедливы эти слухи. А впрочем, по внешнему облику Вячеслава, такому решительному и загадочному, можно было предположить, что он способен перекопать во славу науки не одну могилу, а целую кладбищенскую аллею.

Но, пожалуй, душой кружка молодежи был не он, а его белокурая сестра семиклассница Лида Лебедева. Несмотря на то, что она еще носила школьную форму - коричневое платье и черный передник, а под скромным плоским бантом ее круглой шляпки стыдливо прятался крошечный гимназический герб, Лида была больше похожа на столичную курсистку, чем на гимназистку из глухой провинции. Она была не менее серьезна, чем ее брат, но гораздо мягче, приветливее и даже в самых ожесточенных спорах сохраняла веселое изящество.

Когда собравшиеся на домашнюю вечеринку рослые гимназисты, окружив рояль, увлеченно, до самозабвения, тянули "Дубинушку" или "Назови мне такую обитель", Лида по слуху подбирала аккомпанемент, но стоило ей уступить место кому-нибудь другому, хор почему-то сразу редел, и песня уже не звучала так истово и горячо.

Я был очень горд тем, что старшеклассники так радушно и дружелюбно принимают меня в свою среду, и ради их скромных вечеринок с шумными спорами и разноголосым пением готов был отказаться даже от вечернего гуляния в городском саду.

А ведь еще недавно мне казалось, что на свете нет большего наслаждения, чем это воскресное гуляние, за которое надо было платить гривенник. Раздобыть гривенник было не так-то легко. Иной раз приходилось целых два дня отказываться на большой перемене от бутерброда с колбасой, стоившего всего только пять копеек. Но эта жертва так щедро вознаграждалась, когда с билетом в руке вы свободно и уверенно входили в охраняемые контролером ворота и вас мгновенно подхватывали размеренные, сверкающие серебром и медью звуки духового оркестра.

Под музыку, то бодрую, то задумчиво-печальную, вы неслись, как на крыльях, по широким, освещенным поверху аллеям в дальнюю глубь сада, где можно было бродить в полутьме и в прохладе, не рискуя попасться на глаза шнырявшим в поисках очередной жертвы гимназическим надзирателям.

Если бы в придачу к единственному гривеннику у вас в кармане оказалось еще три-четыре, вы могли бы проникнуть в таинственное двухэтажное здание, в самом началу сада, откуда до вас случайно долетали то мужские, то женские голоса, то раскатистый хохот, то неудержимые, захлебывающиеся рыдания.

У входа в этот необыкновенный дом были расклеены большие разноцветные листы тонкой бумаги, на которых - во всю ширину - красовалось непонятное слово: "Трильби", а под ним напечатанные разными шрифтами - то крупным, то мелким - ряды фамилий, по большей части двойных.

Это был театр, летний городской театр. Играли в нем иной раз приезжие актеры, но чаще всего местные врачи, адвокаты, чиновники, жены аптекарей, офицерские дочки, а режиссером у них был пламенный любитель театрального искусства - земский начальник, капитан в отставке Левицкий.

Как они играли, хорошо или плохо, я не знаю. Да в те времена такого вопроса у меня и не возникало. С восхищением и благодарностью смотрел я на сцену, когда передо мною взвивался театральный занавес.

Все пленяло меня в театре: и частые огоньки рампы, и торопливый перестук молотков перед поднятием занавеса, и смена довольно примитивных декораций, изображавших то гостиную с атласной мебелью и золочеными столиками, то перекресток дороги, то аллею в саду, а иной раз и нечто совершенно неопределенное.

Но больше всего меня поражало то, что взрослые люди, суетящиеся на сцене, заняты игрой, словно серьезным и важным делом.

Мне казалось, что самое трудное в актерском искусстве - это умение как будто по-настоящему смеяться и плакать. Но, пожалуй, еще труднее удерживаться от смеха там, где смеяться не положено.

А как удивляла меня необычайная память актеров, быстро обменивавшихся репликами и произносивших без единой остановки и запинки длиннейшие монологи.

Впрочем, удивление мое несколько ослабело, когда до моего слуха донесся сиплый, но довольно явственный шепот из будки перед сценой.

Почти каждая фраза, которую должны были произнести актеры, долетала до меня заранее из этой загадочной будки.

Эх, не умеют подсказывать! Поучились бы у нашего Степки Чердынцева.

ПРИГЛАШЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРУ

Начало двадцатого века было и началом резкого перелома в моей жизни.

Через некоторое время после того, как я поступил в гимназию, семья наша навсегда покинула заводской двор и пригородную слободку и переселилась наконец в городскую квартиру - в двухэтажный деревянный дом, над калиткой которого было написано крупными буквами:

ДОМ АГАРКОВЫХ

С переездом в город кончилось, в сущности, мое детство.

Быстрее понеслось время. Как будто кто-то придал часовым стрелкам новую скорость.

На заводском дворе мне порой некуда было девать часы и целые дни. Лето тянулось бесконечно долго - куда дольше, чем летние каникулы моей гимназической поры.

Хоть прямое, сознательное любование природой было мне, как и другим ребятам в этом возрасте, чуждо, но как-то на ходу, на бегу, между делом и среди игры я в глубине души радовался, как никогда потом, нашим старым, ветвистым деревьям, о корни которых столько раз спотыкался, оркестру кузнечиков в жаркий полдень, круженью ласточек на закате и даже предвечерней перекличке ворон над мрачным, полуразрушенным заводом...

После нескольких лет жизни на Майдане город с десятком тысяч жителей показался мне настоящей столицей. Он поразил меня не только своими каменными домами (изредка даже двухэтажными!), но и какой-то своеобразной свободой, которою пользуются горожане по сравнению с жителями пригорода.

Город гораздо меньше зависит от погоды, чем слободка, где после проливного дождя улица становится непроходимой. В городе вы не связаны с какой-нибудь одной хлебопекарней или лавочкой: столько здесь булочных и пекарен - выбирай любую!

Здесь вам не надо, как на слободке, просить лошадь у соседа, чтобы съездить куда-нибудь. Но улицам катят взад и вперед, зазывая седоков, извозчики в пролетках с двумя прозрачными фонарями по бокам. За гривенник вы можете проехаться барином, разглядывая вывески лавок по обеим сторонам улицы.

А как сочно, как вкусно называются эти городские лавки - бакалея, галантерея, торговля москательными товарами. И в каждой лавке свой запах, свой уклад, свои особенные повадки у продавцов. Солидный, неторопливый, упитанный приказчик отпускает крупу, отвешивает сахар или режет для вас колбасу в бакалейной лавке. Гораздо более гибкий, проворный, обладающий светскими манерами продавец обслуживает покупательниц в галантерее. И такие рослые, степенные, неразговорчивые дядьки грохочут своим товаром в железоскобяных лавках.

В самом сердце города живет своей особой жизнью целый каменный городок, состоящий из множества лавок и крытых переходов. Это Гостиный ряд, так приветливо манящий прохожих нарядными витринами днем - и такой неприступный, замкнутый на все замки и охраняемый цепными псами ночью.

А есть на одной из главных улиц большой, двухэтажный дом, где в любое время суток - и днем и ночью - радушно встречают приходящих и приезжающих. Над крышей этого дома, во всю ее длину, прибита вывеска, которую я с таким трудом разбирал в те времена, когда приходил в город с Майдана:

КОММЕРЧЕСКИЕ НОМЕРА

Я знал, что этот дом - гостиница и что люди здесь живут не так, как в других домах, не постоянно, а день-другой, самое большее - неделю или две. У дверей гостиницы всегда стоят и разговаривают между собой или со швейцаром приезжие. Среди них часто встречаются люди, бреющие не только бороду, но и усы (что в то время было еще редкостью). Люди эти завязывают галстуки широким бантом и говорят какими-то особенными - звучными и раскатистыми голосами. С ними - дамы в больших шляпах с перьями и в нарядных платьях, каких не носят у нас в городе.

Это - те самые приезжие актеры и актрисы, которые так великолепно рыдают и смеются в театре.

Но чаще всего из дверей гостиницы выходит усатый и бородатый народ - в картузах, в поддевках и в сапогах бутылками.

У тех, кто носит только усы, - поддевки несколько более щеголеватые, в талию, да и картузы у них поаккуратнее, с высоким верхом наподобие военных фуражек. А у людей бородатых картузы помягче, пониже, поддевки потолще и пошире в поясе.

Усачи - это мелкие помещики нашего уезда или управляющие имениями. Бородачи - купцы.

Я не раз заглядывал в открытую дверь гостиницы, стараясь представить себе, как живут все эти незнакомые люди в таинственных комнатах, называемых "номерами".

Неожиданно мне представился случай побывать в "Коммерческих номерах". Произошло это так.

На одной из вечеринок в квартире у Лебедевых, где чаще всего собиралась молодежь - гимназисты и гимназистки старших классов, - увидел я как-то необычного гостя, петербургского студента. Это был первый встреченный мною, однако же совсем незаурядный студент. Он был сыном богатого, но весьма либерального помещика Бобровского уезда и приезжал из отцовского имения на собственной тройке с колокольчиками и бубенцами. Носил студенческую фуражку с голубым околышем и щегольскую шинель офицерского покроя с широкой пелериной (такую шинель называли "николаевской").

Собою он был хорош, статен, высок. Черты лица были у него строгие, правильные, глаза - веселые, блестящие, светло-голубые. Небольшая русая бородка была аккуратно расчесана.

Наши серьезные и самолюбивые гимназисты-старшеклассники глядели на него искоса, исподлобья - отчасти потому, что считали его баричем и "белоподкладочником", отчасти, может быть, из ревности, - так представителен и великолепен был он в своем форменном студенческом сюртуке, так непринужденно и весело смеялся, сверкая ровными белыми зубами. А бородку он как будто нарочно отпустил для того, чтобы всем было видно, что он давно уже перешел из юношеского в более солидный возраст.

Впрочем, он всячески старался держаться с нашими усатыми гимназистами запросто, на равной ноге, пел с ними вольные и задорные студенческие песни, вроде:

У студента под конторкой

Пузырек нашли с касторкой.

Динамит - не динамит,

А без пороха палит,

У курсистки под подушкой

Нашли пудры фунт с осьмушкой...

Или:

Там, где тинный Булак

Со Казанкой-рекой,

Точно братец с сестрой,

Обнимаются.

От зари до зари,

Лишь зажгут фонари,

Вереницей студенты

Шатаются.

А Харлампий святой

С золотой головой,

Сверху глядя на них,

Улыбается.

Он и сам бы не прочь

Погулять с ними ночь,

Да на старости лет

Не решается...

Аккомпанировала, как всегда, Лида Лебедева. Однако присутствие петербургского гостя ее немного смущало. Она сбивалась и, покраснев, уступала место у рояля студенту, который легко и ловко подбирал любой мотив длинными, сильными пальцами с двумя перстнями - на указательном и безымянном.

Я был значительно моложе всех присутствующих и в пении участия не принимал - стыдился показать, что голос у меня еще совсем детский.

Однако студент обратил свое внимание и на меня. Узнав от кого-то вероятно, от Лиды Лебедевой, - что я пишу стихи, он дружески похлопал меня по плечу и предложил пристроить несколько моих стихотворений в одном из петербургских

толстых журналов - по моему выбору - например, в "Русском богатстве" или в "Мире божьем"... Но предварительно он и сам бы хотел познакомиться с моей поэзией.

В конце концов мы условились, что я приду к нему на следующее утро в "Коммерческие номера". На всю жизнь запомнил я номер, в котором проживал мой студент: пятнадцатый.

Еще бы не запомнить! Взрослый человек, остановившийся в гостинице, студент петербургского университета (это звание казалось мне тогда равным чуть ли не званию профессора или академика) приглашает меня к себе в номер, чтобы послушать мои стихи и потолковать об устройстве их в одном из столичных журналов... Все это было так невероятно, что я решил ничего не рассказывать своим домашним до завтрашнего дня.

Вернувшись домой, я долго ходил по комнате, раздумывая о том, какие из моих стихов больше всего подошли бы для толстых журналов. Это была неразрешимая задача. Петербургских журналов я еще никогда не читал, а только видел на столах в библиотеке. Кто знает, какие стихи могут понравиться редакторам "Русского богатства" и "Мира божьего"!..

После долгих сомнений и размышлений я решил переписать начисто всю тетрадку стихов.

Бережно и старательно до глубокой ночи переписывал я стихотворение за стихотворением, тут же на ходу исправляя строчки, которые мне казались слабыми.

Утром я проснулся позже, чем предполагал, и, захватив с собой тетрадку, опрометью помчался в гостиницу, где, как мне представлялось, меня уже давно поджидает мой великолепный студент в том же самом щегольском, застегнутом на все пуговицы сюртуке, в каком я его видел накануне.

Вот они наконец - эти "Коммерческие номера"!

Вместе с несколькими взрослыми людьми - с двумя офицерами и дамой в широкой шляпе - вошел я в подъезд гостиницы. Бородатый старик швейцар в поношенной ливрее с давно потускневшими пуговицами и позументами поклонился вошедшим взрослым, а меня спросил:

- Ты к кому, мальчик?

Я назвал студента.

- А, в пятнадцатый! - сказал бородач. - Только их, кажись, дома нету. С вечера не вернулись.

И он указал рукой на доску, на которой под номерами висели ключи от комнат.

Я поколебался немного, но все-таки решил постучаться к студенту. Не может быть, чтобы такой серьезный человек меня обманул.

По обе стороны длинного, полутемного коридора я увидел множество дверей. Одни из них были полуоткрыты - так, что я мог разглядеть бреющегося перед стенным зеркалом толстого человека в синих штанах с красными кантами и с болтающимися сзади подтяжками или целую компанию мужчин и женщин, завтракавшую за столом, уставленным графинами, тарелками, чайниками и пестрыми чашками.

Другие двери были плотно и таинственно закрыты, н перед ними, точно на страже, стояли туфли, ботинки или высокие сапоги со шпорами.

Вот и номер, где живет мой студент. Я тихонько постучался, но ответа не было. Подождав минуты две, я постучался сильней, но и на этот раз никто не ответил. Неужели студент и в самом деле не вернулся с вечера? Где же и когда я его теперь найду?

Вот тебе и "Мир божий"!

Я был не на шутку огорчен. Не оттого, что терял надежду увидеть свои стихи напечатанными в толстом журнале. Нет, мне было жаль какого-то обещанного и

несостоявшегося праздника...

Пробегавший мимо меня с подносом на вытянутой руке молодой парень в белой рубахе навыпуск и в белых штанах крикнул мне на ходу:

- А вы заходите без стука! Чего стучать - соседей будить? Нонче воскресенье, - проезжающие спят допоздна!

От его подноса, накрытого салфеткой, вкусно пахло блинами, топленым маслом и какой-то копченой рыбой. У меня даже засосало под ложечкой, - ведь я ушел из дому без завтрака.

Послушавшись совета, я нажал ручку двери и вошел в номер.

Первое, что попалось мне на глаза в просторной и все же душной комнате, была роскошная шинель студента, небрежно брошенная на спинку кресла. Со спинки другого кресла свешивались синие студенческие брюки со штрипками.

Значит, он дома, в номере. Но почему же его не видно?

Тут только я услышал громкий храп из-за пестрой ширмы, которая была похожа на те, что носят на спине бродячие петрушечники.

Спит.

Я тихонько уселся на стул у небольшого, накрытого узорчатой скатертью стола, на котором стояли пустой графин, бутылка темно-красного вина с черно-золотым заграничным ярлыком и сифон сельтерской воды.

Я стал внимательно разглядывать номер: умывальник с большой фарфоровой чашкой и кувшином, несколько позолоченных стульев с потертыми плюшевыми сиденьями и такой же диванчик. А над диванчиком на стене - картина в золотей раме, изображающая румяную красавицу в красном платье с распущенными по плечам пышными волосами. Почему-то по одну сторону пробора волосы были иссиня-черные, а по другую - белокурые.

Под изображением было напечатано крупными золотыми буквами: "Туалетное мыло Ралле и Ко".

Осмотрев все, что было в номере, я стал невольно прислушиваться к храпу. Он вовсе не был так однообразен, как показалось мне вначале: в нем было и хрипение, и мурлыканье, и бульканье, и свист.

Как-то незаметно я и сам задремал и выронил из рук толстую книгу, между страницами которой была у меня моя новенькая тетрадка со стихами. Я заложил ее в книгу, чтобы она не помялась дорогой.

- Ммм... кто там? - сонным и недовольным голосом спросил студент.

Я не знал, что и ответить. Вряд ли он запомнил мою фамилию.

- Это я... Вы помните, вчера у Лебедевых... Вы просили занести вам стихи для журналов...

- А, поэт! - уже более бодрым голосом сказал студент. - Отлично. Сейчас я буду весь к вашим услугам!

Через несколько минут он вышел из-за ширмы в каком-то полосатом халате, подпоясанном шнурком с красными кистями. Волосы прилипли у него ко лбу, нерасчесанная бородка сбилась и смотрела куда-то вкось.

После долгого умыванья с фырканьем и плеском он пригладил свои, уже слегка поредевшие, волосы, расправил бородку и, поморщившись, сказал:

- Фу, какой вкус во рту противный!.. Будто всю ночь медный ключ сосал... Сельтерской, что ли, выпить?

И, нажав ручку сифона, он нацедил себе полный стакан шипучей, пенистой воды.

- Так-с, - сказал он, усаживаясь в кресло, на котором висели его брюки. - Самоварчик закажем, а? И, может быть, осетринки с хреном... - добавил он медленно и задумчиво.

Вызвав звонком полового и заказав самовар, осетрину и графинчик зубровки, он снова уселся в кресло и уставился на меня своими голубыми, но на этот раз несколько мутноватыми глазами с красными прожилками в белках.

- Значит, вы мне стишки принесли? Вот и отлично. Давайте-ка их сюда, давайте!

Я молча протянул ему свою тетрадку. Он небрежно раскрыл ее и перевернул страницу, другую.

- Так, так, - сказал он. - Почерк у вас отличный. Превосходный. Вероятно, по чистописанию пятерка? А?

Немного обиженный, я пробормотал, что чистописания у нас уже давно нет.

- Ах, простите! Конечно, нет... Но пишете вы все-таки прекрасно, сказал он, вновь раскрывая мою тетрадку.

- Вы сами прочтете стихи или мне вам прочесть? - нерешительно спросил я, видя, как рассеянно перебрасывает он страницы.

- Нет, зачем же?.. - сказал студент, позевывая. - Кто же это с самого утра - да еще натощак - стихи читает? Стихи приятно декламировать вечером и, разумеется, в обществе женщин. Не так ли?

И он с размаху бросил мою бедную тетрадку в раскрытый чемодан, где лежали носки, платки, крахмальные воротнички и сорочки.

В это время дверь отворилась, и в номер, скользя на мягких подошвах и поигрывая подносом с графинчиком и тарелками, вбежал половой.

- Что ж, закусим? - спросил студент, разворачивая салфетку. Присаживайтесь, поэт!

- Спасибо, не хочу, - сказал я сдавленным голосом и, неловко поклонившись, вышел в коридор.

Я уже ясно понимал, что стихи мои не увидят ни "Мира божьего", ни "Русского богатства"... Но взять их обратно у меня не хватило храбрости.

"ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ"

Если бы судьба случайно не свела меня с этим столичным студентом, мне бы и в голову не пришла мысль послать свою рукопись в редакцию какого-нибудь журнала.

Насколько я себя помню, пристрастие к стихам появилось у меня с самого раннего возраста. В сущности, "писать стихи" я начал задолго до того, как научился писать. Я сочинял двустишия, а иногда и четверостишия устно, про себя, но скоро забывал придуманные на лету строчки. Постепенно от этого "устного творчества" я перешел к письменному.

Мне было лет пять-шесть, когда я впервые участвовал в детском утреннике. На маленькой сцене, специально построенной по этому случаю в саду у наших знакомых, старшие ребята представляли какую-то пьеску, а мы, младшие, выступали в дивертисменте - пели, читали стихи или плясали русского в красных рубашках, подпоясанных шнурками. Публика разместилась на стульях, расставленных перед сценой. Когда очередь дошла до меня, я быстро сбежал по лесенке со сцены и, шагая по проходу между рядами стульев, стал громко и размеренно читать стихи, отбивая шагами такт. Где-то в задних рядах публики меня наконец задержали и вернули на сцену, объяснив мне, что во время чтения стихов надо не ходить, а стоять смирно. Это меня очень удивило и даже огорчило. Разве устоишь на месте, когда строчки стихов так и подмывают двигаться, шагать, отстукивать такт...

По совести говоря, я и до сих пор думаю, что был тогда прав. Известно, что в

греческом театре хор не стоял на одном месте, а мерно двигался. Да и самое деление стиха на "стопы" оправдывает мое детское представление о том, как надо читать стихи.

Но переубедить взрослых пятилетнему человеку нелегко. Мне пришлось дочитать стихотворение со сцены, но уже безо всякого удовольствия.

Однако придумывать стихи я не перестал.

К двенадцати - тринадцати годам я сочинял целые поэмы в несколько глав и был сотрудником и соредактором литературно-художественного журнала "Первые попытки".

Другим редактором этого рукописного журнала был мой приятель Леня Гришанин. Как и большинство друзей моего детства, он был значительно старше меня - лет на шесть, на семь, по крайней мере. В школе он никогда не учился, так как с малых лет был калекой: ноги у него были согнуты в коленях, и ходил он будто на корточках, сильно шаркая на ходу ногами. Из дому он почти никогда не отлучался и учился в одиночку - по гимназической программе. И все же успевал куда больше своих сверстников-гимназистов, а книг прочел столько, сколько иной не прочтет за целую жизнь.

Пальцы обеих рук были у него тоже сведены и не разгибались. Но он каким-то чудом ухитрялся вкладывать левой рукой в сложенные щепоткой пальцы правой перо, рейсфедер или карандаш и не только писал и чертил, но даже и рисовал превосходно. Недаром каждый номер нашего журнала выходил с красочным заголовком и с тонкими рисунками пером в тексте.

Леня был не только редактором журнала, но и нашей типографией: все номера от первой до последней строчки переписывал начисто он один, так как считал мой почерк слишком детским. Хорошо еще, что номера состояли всего лишь из нескольких страничек и выходили в одном-единственном экземпляре. Впрочем, больше и не требовалось. Журнал читали, кроме Лени и меня, только мои товарищи по классу, мой брат и Ленина сестра.

Семья у Гришаниных была маленькая, но тесно спаянная одиночеством и каким-то особенным умением понимать друг друга с полуслова. Я очень любил бывать в этом доме, где как будто совсем не было старших, - так просто, по-дружески, шутливо и в то же время серьезно относились друг к другу Леня, его мать и шестнадцатилетняя сестра-гимназистка Маруся. Леня подчас едко подтрунивал над веселым и прихотливо-изменчивым нравом своей младшей сестры, но к его добродушно-насмешливым замечаниям она уже давно привыкла и никогда на них не обижалась.

Приехали Гришанины в наш город откуда-то с Украины, где служил в последние годы своей жизни отец семьи, армейский офицер. Похоронив мужа, Александра Михайловна, оставшаяся с двумя маленькими детьми на руках, долго бедствовала и не могла вовремя полечить больного сына. После многих мытарств ей удалось получить место сиделицы винной лавки в городе Острогожске, когда торговля водкой стала монополией государства. Как ни жалка была эта должность, добиться ее было не так-то легко. Нужно было солидное поручительство, чтобы бедной офицерской вдове была наконец предоставлена честь отпускать покупателям бутылки, запечатанные белым или красным сургучом. "Белые головки" стоили дороже, чем красные.

Винная лавка, которую в просторечии именовали "казенкой", "монополькой" или "винополькой", была нисколько не похожа на обыкновенные лавки.

Над входом ее красовалась темно-зеленая вывеска с двуглавым орлом и строгой, четкой надписью:

КАЗЕННАЯ ВИННАЯ ЛАВКА

Частая железная решетка разделяла помещение на две половины. В одной, куда не было доступа посторонним, царил чинный и даже торжественный порядок, точно в аптеке, в казначействе или в банке. На многочисленных полках стояли, выстроившись, как солдаты по ранжиру, сороковки, сотки и двухсотки, которым потребители дали свои, более сочные и живописные прозвища - шкалики, мерзавчики, полумерзавчики и т. д.

А по ту сторону решетки толклась самая разношерстная публика. Людям, которые были, как говорится, "на взводе" или "под мухой", отпускать водку не полагалось, но завсегдатаи казенки не сдавались и подолгу, заплетающимся языком, убеждали сиделицу, что они "как стеклышко". Если уговоры и мольбы не действовали, они переходили к угрозам и к самой отборной ругани.

В таких случаях сиделица имела право вызвать городового, который всегда дежурил неподалеку от казенки. Но, кажется, Александре Михайловне не пришлось ни разу прибегнуть к содействию властей. Из маленькой двери, которая вела в жилые комнатки, выходил, с трудом переступая согнутыми в коленях и далеко выставленными вперед ногами, Леня. Этот человек, поднимавшийся всего на полтора аршина от пола, никогда не ввязывался в споры с покупателями. Но было, должно быть, нечто устрашающее в строгом юношеском лице с пронзительными голубыми глазами и в придавленном к земле паучьем теле. Во всяком случае, поглядев на него, даже самый отъявленный буян умолкал и пятился к дверям.

Обычно, пока торговля в казенке шла тихо и мирно, Леня относился к своим обязанностям и к тому хмельному заведению, которое обслуживала его семья, с трезвым и печальным юмором. Только такое снисходительное, философское отношение и могло примирить его с делом, которым ему приходилось заниматься отнюдь не по влечению сердца.

Напряженно думая о чем-то своем, он живо и ловко расставлял по полкам сотни бутылок, которые привозили со склада в корзинах, разделенных на гнезда, или взбирался на лесенку, чтобы достать для покупателя сороковку или шкалик, если нижние полки были уже пусты.

После обеда Леню сменяла на посту мать или Маруся, а он уходил в свою комнату рисовать что-нибудь или читать книжки.

От него я впервые узнал о Писареве, которого он читал не отрываясь, со страстным увлечением.

И когда года через три-четыре я сам стал читать Писярева, я понял, кому был обязан мой приятель своим умением спорить остро и колко, хотя, впрочем, какая-то едкая, подчас горькая ирония была присуща я ему самому.

Со мной он обращался, как старший с младшим, - ведь у него было гораздо больше знаний и житейского опыта, чем у меня. И все же ему, видимо, нравилось подолгу болтать со мной о самых разных материях. Может быть, он просто отдыхал от своих мыслей и тревог в обществе мальчика, который нисколько не досаждал ему обидным сочувствием и с открытой душой встречал каждую его шутку, каждое меткое словцо.

Наш рукописный журнал "Первые попытки" был для меня важным и серьезным делом, а для него, по всей вероятности, только забавой. Однако он старательно рисовал заголовки журнала и аккуратно снабжал его прозой коротенькими юмористическими рассказами и заметками "из мира науки" - в то время как я мог предложить журналу только стихи.

В комнате, где мы работали, всегда стоял острый, водочный запах, которым была пропитана насквозь вся квартира.

Иногда под вечер, когда на столе у Лени уже горела керосиновая лампа, нашу редакционную работу неожиданно прерывала Маруся. Некоторое время она неподвижно, с закрытыми глазами, сидела в старом кресле, отдыхая от гимназии и от занятий с учениками, которых она репетировала. А потом, как-то сразу стряхнув с себя усталость, приносила брату мандолину и начинала упрашивать его еще разок повторить с ней романс, который она готовила для гимназического вечера. У Лени был прекрасный слух, и Маруся никогда не выступала на вечерах без его одобрения.

Поворчав немного, Леня все же брал мандолину и, наклонившись над ней, принимался теребить струны, а Маруся становилась в позу, складывала руки коробочкой, как это делают профессиональные певицы, и пела:

Средь шумного бала, случайно,

В тревоге мирской суеты...

Не знаю, нравилось ли Марусино пение клиентам "казенной винной лавки", до которых долетал такой неожиданный для этого заведения лирический романс Чайковского, но мне казалось, что лучше петь нельзя.

- Фальшивите, фальшивите, сударыня, - говорил ей Леня и опять наклонялся над мандолиной.

Я смотрел на его быстро мелькающие руки и думал о том, как отлично справляются с любым делом эти уродливо скрюченные, несгибающиеся пальцы.

Брат и сестра были очень похожи друг на друга - те же немного прищуренные голубые глаза, те же мягкие светло-русые волосы. Должно быть, Леня был бы очень хорош собой, если бы его не изувечила болезнь.

Когда в лавке не было покупателей, в комнату к Лене приходила Александра Михайловна, темноволосая, худощавая, преждевременно состарившаяся женщина в очках. Она пристраивалась где-нибудь в углу, видимо радуясь возможности побыть с детьми, - ведь эта маленькая семья так редко бывала в сборе.

Но раздавался резкий, назойливый звонок из лавки, извещавший о приходе покупателя.

- Вот вам и "тревога мирской суеты"! - с усмешкой говорил Леня и, шаркая ногами, отправлялся торговать казенным вином.

Как из горного озера река, так из детства, которому весь мир представляется извечно, неизменным и неподвижным, вытекает своенравная, стремительная юность.

В первые годы жизни мы обходимся без календаря, да, в сущности, и без часов. В календарь заглядываем главным образом перед днем рождения, а часы напоминают ним о себе только тогда, когда время идет к обеду или ко сну.

Все в детстве кажется нам устойчивым, незыблемым, первозданным: город, улицы, названия улиц и лавок; да и самые лавки, где продают крупу и соль в "фунтиках", а сахарные головы в обертке из плотной синей бумаги. Мороженщики с тарахтящими на ходу ящиками на колесах, петрушечники с пестрыми ширмами все это как будто существует с незапамятных времен, чуть ли не с начала мира...

В эти годы жизни вполне полагаешься на взрослых, которым известно, что бывает и чего не бывает на свете, что, когда и как надо делать. Мир представляется нашему воображению загадочным, но вполне разумным, хоть пока еще нам Знакома только очень небольшая его частица - наш двор да еще несколько прилегающих к нему улиц. Мы забрасываем взрослых бесчисленными вопросами, но далеко не всегда получаем от них вразумительные, утоляющие ответы.

Но вот наступает юность. Мир с необыкновенной быстротой разрастается в него входят уже целые страны, материки и далекие звездные миры. Время становится считанным и раздвигается в обе стороны - в прошедшее и будущее.

Все на свете оказывается непостоянным, изменчивым и не всегда разумным. Мы начинаем замечать, что взрослые не так уж надежны - они часто ошибаются, колеблются, не согласны друг с другом, а иной раз даже противоречат себе самим и далеко не все на свете знают.

Нам теперь часто приходится действовать на свой собственный страх и риск. Дороги разветвляются, и на каждом перекрестке перед нами встает трудная задача выбора пути. Кое-какой житейский опыт у нас уже накоплен, и мы с нетерпением ждем и жаждем нового опыта.

Весь мир приходит в движение за какие-нибудь два-три года.

Он становится огромным и в то же время, - хоть это и может показаться странным и даже противоречивым - как-то уменьшается в нашем сознании.

Нам больше не кажутся великанами деревья на дворе. Не так заметен теперь замшелый камень, глубоко вросший в землю за старым заводом. Мы уже не следим с

таким пристальным вниманием за катящимися по оконному стеклу дождевыми каплями, которые делятся и дробятся по пути вниз, словно блестящие шарики ртути.

Зато перед нами открывается даль, как в бинокле, который повернули другой стороной.

К тому же с приходом юности наши дни наполняются несметным множеством разнообразных впечатлений, навсегда заслоняющих от нас первоначальную пору жизни.

ГОЛОС НОВОГО ВЕКА

Юность людей моего поколения была особенно напряженной и тревожной, потому что совпала с началом нынешнего века, а этот век с первых же дней показал свои львиные когти.

Во время моего детства и отрочества мы еще не знали (как странно представить себе это сейчас!) ни электрического света, ни телефона, ни трамваев, ни автомобилей, ни аэропланов, ни подводных лодок, ни кинематографа, ни радио, ни телевидения.

В столичных журналах рассказывали, как о чуде, об электрическом освещении на Парижской всемирной выставке. А среди иллюстраций к новостям техники время от времени появлялись изображения прадедушек и дедушек нынешнего автомобиля.

Говорить по телефону мне впервые довелось только через несколько лет после переезда в Питер. На моих глазах по петербургским улицам покатили первые, еще новенькие вагоны трамвая, заменившие собою медленно ползущую, громоздкую конку.

Первые годы столетия были временем напряженного ожидания новых открытий. Не сегодня-завтра должен был родиться подводный корабль, который мелькал уже на страницах романов Жюля Верна; со дня на день ждали, что вот-вот оторвется от земли летающий аппарат тяжелее воздуха. Все более возможным и вероятным казалось открытие Северного полюса.

И хотя в небольшом уездном городке, где я встретил начало века, не было еще сколько-нибудь заметных перемен, люди чувствовали, что скоро наступят какие-то новые времена.

То и дело до нас доходили ошеломительные известия о последних изобретениях.

Я хорошо помню, как нам, ученикам острогожской гимназии, однажды объявили, что двух последних уроков у нас не будет, а вместо этого нас куда-то поведут. Мы построились парами на дворе гимназии, и вышедший к нам преподаватель математики и физики, прозванный Барбароссой, пообещал продемонстрировать перед нами нечто весьма любопытное.

Мы пошли по главной улице и остановились перед дверью какого-то магазина, куда нас начали впускать по очереди. В просторном, почти пустом помещении мы увидели столик, на котором стоял загадочный продолговатый ящик с двумя шнурами.

Один за другим мы подходили к ящику, строя всякие догадки о том, что в нем таится.

Барбаросса долго молчал и только поглаживал рыжую бороду.

- Вы видите перед собой, - заговорил он наконец, - недавно изобретенный аппарат, который воспроизводит любые звуки, - в том числе и звуки человеческой речи

Изобретатель этого аппарата Эдисон дал ему греческое название "фонограф", что по-русски значит "звукописец". Соблаговолите присесть к этому столику и вложить себе в уши концы проводов. Всех же остальных присутствующих здесь я попросил бы соблюдать абсолютную тишину. Итак, начинаем!

От старшеклассников мы знали, что физические опыты редко удаются нашему степенному преподавателю математики и физики, и поэтому не ждали успеха и на этот раз. Вот сейчас он вытрет платком лысину и скажет, сохраняя полное достоинство: "Однако этот прибор сегодня не в исправности", или: "Очевидно, нам

придется вернуться к этому опыту в следующий раз!"

Но на самом деле вышло иначе. В ушах у нас что-то зашипело, и мы явственно услышали из ящика слова: "Здравствуйте! Хорошо ли вы меня слышите? Аппарат, с которым я хочу вас познакомить, называется фонограф. Фо-нограф..."

После короткого объяснения последовала пауза, а затем раздались звуки какого-то бравурного марша.

Мы были поражены, почти испуганы. Никогда в жизни мы еще не слышали, чтобы вещи говорили по-человечьи, как говорит этот коричневый, отполированный до блеска ящик. Музыка удивила нас меньше, - музыкальные шкатулки были нам знакомы.

А Барбаросса поглаживал рыжую бороду и торжествующе поглядывал на нас, как будто это он сам, а не Эдисон изобрел говорящий аппарат.

Конец прошлого и начало нынешнего столетия как-то сразу приблизили нашу уездную глушь к столицам, к далеко уходящим железным дорогам, к тому большому, полному жизни и движения миру, который я еще так смутно представлял себе, играя на просторном заводском дворе в города из обломков кирпича и в деревни из щепочек.

Понаслышке я знал, что в этом большом мире есть люди, известные далеко за пределами своего города и даже своей страны. Там происходят события, о которых чуть ли не в тот же день узнает весь земной шар.

Сам-то я жил с детства среди безымянных людей безвестной судьбы. Если до нашей пригородной слободы и долетали порой вести, то разве только о большом пожаре в городе, об очередном крушении на железной дороге или о каком-то знаменитом на всю губернию полусказочном разбойнике Чуркине, лихо ограбившем на проезжей дороге почту или угнавшем с постоялого двора тройку лошадей.

Но вот до нас стали докатываться издалека отголоски и более значительных событий.

Мне было лет семь, когда царский манифест, торжественные панихиды и унылый колокольный звон возвестили, что умер - да не просто умер, а "в Бозе почил" - царь Александр Третий.

Еще до того в течение нескольких лет слышал я разговоры о каком-то таинственном покушении на царя и об его "чудесном спасении" у станции Борки, где царский поезд чуть было не потерпел крушение.

А вот теперь царь "почил в Бозе". Я решил, что "Боза" - это тоже какая-то станция железной дороги. В Борках царь спасся от смерти, а в Бозе, как видно, ему спастись не удалось.

Года через полтора я услышал новое слово "иллюминация". В Острогожске, как и в других российских городах, зажгли вдоль тротуаров плошки по случаю восшествия на престол нового царя, и все население окраин - Майдана и Лушниковки - прогуливалось в этот вечер вместе с горожанами по освещенным, хоть и довольно тускло, главным улицам. Даже наш сосед - слепой горбун шагал по городу в шеренге слободских парней. Любоваться огоньками плошек он не мог, но долго с гордостью вспоминал день, когда "ходил на люминацию".

Однако празднества были скоро омрачены новыми зловещими слухами. Из уст в уста передавали страшные и загадочные вести о какой-то "Ходынке". Страшным это слово казалось оттого, что его произносили вполголоса или шепотом, охая и покачивая головами. Из обрывков разговоров я в конце концов понял, что Ходынка - это Ходынское поле в Москве, где во время коронации погибло из-за давки великое множество народа. Рассказывали, что несметные толпы устремились в этот день на Ходынку только ради того, чтобы получить даром эмалированную кружку с крышечкой и с вензелями царя и царицы под короной и гербом.

Неспокойно начиналось новое царствование.

Встречаясь на улице или переговариваясь через плетень, соседи толковали о

холере, о голоде, о комете. А приезжие привозили известия о том, что в больших городах - в Питере, в Москве, в Киеве, в Харькове - все чаще и чаще "фабричные" бастуют, а студенты бунтуют и что студентов сдают за это в солдаты.

Одни из наших соседей - особенно соседки - жалели студентов, другие говорили, что так им и надо, - пускай, мол, не бунтуют, а учатся!

Все новости разносила в то время устная молва. Газета была редкой гостьей на Майдане, да и в городе.

Маленькую газетку "Свет" получал ежедневно из Питера усатый красильщик - тот самый, что зачитывался приложениями к журналу "Родина". Отец говорил, что эта газетка все врет и "скверно пахнет". Я понимал его слова совершенно буквально - может быть, потому, что от книг, которые давал мне красильщик, и в самом деле веяло затхлостью чулана, набитого всяким хламом.

Презрительно морщился отец и тогда, когда при нем упоминали другую столичную газету гораздо большего формата и объема, которая печаталась на бумаге лучшего качества и носила название, набранное крупным, четким и красивым шрифтом, - "Новое время".

И когда я впервые заметил широкие листы "Нового времени" в руках у нашего классного наставника Теплых, я даже не решился рассказать об этом отцу, который никогда и в глаза не видал Владимира Ивановича, но давно уже влюбился в него по моим рассказам.

В нашей семье газета появлялась редко - только в те дни, когда дома бывал отец. Помнится, чаще всего читал он "Неделю", которую называли "Неделей" Гайдебурова. За газетой велись жаркие споры.

Особенно часто и шумно спорили одно время о событиях во Франции, хотя от нашего Майдана до Парижа было так же далеко, как от тех мест, откуда, по словам Гоголя, "три года скачи, ни до какого государства не доедешь".

У меня о Франции и французах было в те времена довольно смутное представление. Помню песню, которую надрывными голосами распевали девицы на соседнем дворе:

Жил-был во Хранцыи

Король молодой,

Имел жену-красавицу

И двох дочерей.

Одна была красавица,

Что царская дочь,

Другая смуглявица,

Что темная ночь...

Знал я о нашествии Бонапарта на Москву. А еще память моя сохранила несколько названий парижских бульваров и предместий да десяток французских имен из тех "романов", которыми снабжали меня торговавший в лабазе Мелентьев и сосед-красильщик.

Но все это казалось мне таким далеким - либо вымышленным, книжным, либо относящимся к давним временам. А тут разговор шел о дедах, которые творились во Франции в наши дни, и о людях, в самом деле существующих.

Целый поток звучных иностранных фамилий ворвался в нашу будничную, жизнь и запомнился на долгие годы.

Генерал Кавеньяк, генерал Буадефр, полковник Пикар, офицер генерального штаба Эстергази, Клемансо, Лабори, Бернар Лазар, Пати де Клам, Эмиль Золя...

Но чаще всего упоминалось одно имя: Дрейфус. Капитан Альфред Дрейфус.

Мы, ребята, прислушивались к разговорам взрослых и жадно ловили все, что могли узнать от них о суде над Дрейфусом, о его разжаловании и ссылке на Чертов остров.

Казалось, мы читаем повесть, у которой еще нет конца.

Виновен ли Дрейфус в измене или не виновен? Будет ли он в конце концов оправдан или останется навеки на пустынном острове?

В том возрасте, в каком к был тогда, достаточно нескольких самых незначительных подробностей, чтобы представить себе вполне зримо незнакомую обстановку и неизвестных людей, о которых говорят вокруг.

Совершенно отчетливо видел я пред собой сцену разжалования Дрейфуса.

Черноволосого, бледного офицера, невысокого, но стройного, выводят под барабанную дробь на плац. С него срывают эполеты, ломают над его головой шпагу. Мне очень жаль офицера и, признаться, даже немного жалко сломанной пополам шпаги.

Я никогда не видел Дрейфуса на портретах и не имел ни малейшего понятия о его наружности. Но почему-то - может быть, только потому, что он был офицер, - я невольно представлял его себе в образе нашего знакомого военного врача Чириковера, который когда-то лечил нас в Воронеже...

И вот корабль-тюрьма везет осужденного на вечную ссылку офицера на Чертов остров, который находится, как сказал мне брат, где-то недалеко от берегов Южной Америки.

- Чертов остров! Само это название как бы говорит о том, что попавший туда человек обречен на гибель. Посреди острова высится башня, раскаленная от солнечного жара днем и веющая холодом и сыростью ночью. Долго в такой клетке не проживешь.

Правда, отец уверяет, что во Франции все больше и больше людей требуют отмены приговора. Особенно часто упоминается в газетах имя французского писателя Эмиля Золя, который написал в защиту осужденного письмо в газету под названием: "Я обвиняю". Но и Эмиля Золя приговорили за это письмо к тюрьме.

Видно, недаром паша мама так часто говорит, что добиться на этом свете справедливости нелегко.

Помню, к нам на Майдан приехали как-то двое приятелей отца. Для нас их приезд всегда был настоящим праздником. Оба они были люди веселые, любили поесть, выпить, поболтать, пошутить, да к тому же никогда не являлись в дом без щедрых подарков для нас, детей. Обычно приезжали они порознь, а тут случайно нагрянули вместе.

Один из них был землемер Семен Семеныч Ничипоренко, высокий, бородатый, худощавый, в поношенной форменной тужурке со светлыми пуговицами, человек бывалый, обошедший пешком и объездивший чуть ли не всю Россию. Другой пышноусый Егор Данилыч Селезнев, плотный, широкоплечий, в темно-синей поддевке и в ярко начищенных высоких сапогах. Был он, кажется, управляющим каким-то маслобойным заводом и приезжал к нам без кучера на узких беговых дрожках.

Семен Семеныч привез брату альбом марок со всех концов света - там была даже марка острова Мартиника, - а мне большую коробку оловянных солдатиков, среди которых были и пешие, и конные, и артиллеристы с пушечками на колесиках, и стрелки, и трубачи, и знаменосцы.

Егор Данилыч не успел ничего купить нам и попросил у наших родителей позволения подарить нам по целковому, чтобы мы сами купили для" себя конфеты или игрушки.

Отец никогда не позволял нам брать деньги у чужих, но на этот раз вынужден был согласиться,

Как всегда, весь наш дом ожил, едва только из передней послышались голоса этих добрых, разговорчивых и таких беззаботных Q виду людей.

Обедали долго. За столом Егор Данилыч рассказывал анекдоты, а после обеда Семен Семевыч пел шутливые украинские песни.

Жалилася попадья,

Що пип з бородою...

Запрягала попадья

Гуси та индыки,

Поихала попадья

У Киив до владыки...

Перед вечерним чаем гости прилегли на часок отдохнуть, а потом все опять собрались за столом, на котором уже пел свою песенку большой, светло начищенный самовар с чайником на макушке.

Мы с братом сидели с края стола и с нетерпением ждали от мамы клубничного варенья, а от гостей - новых смешных рассказов и песен. Но вместо этого гости завели долгий, шумный разговор, в котором снова и снова повторялись все те же, уже знакомые нам, имена: Дрейфус, Эстергази и Эмиль Золя" которого Егор Данилыч называл по-русски: "Зола". Его могучий, густой бас гремел на весь дом, а Семен Семеныч отвечал ему своим высоким, звонким тенором, в котором слышались и задор и насмешка, то веселая, то Злая.

Мой брат и я давно уже считали себя настоящими "дрейфусарами" и сейчас были целиком на стороне Семена Семеныча, но вмешаться в разговор по молодости лет не смели и только поминутно поглядывали на отца, который на этот раз, против своего обыкновения, не принимал участия в споре и только постукивал по столу пальцами да хмурил брови. Но вот и его терпению пришел конец. Он отодвинул от себя недопитый стакан чая и так напустился на Егора Данилыча, что тому стало невмочь отбиваться на обе стороны. Он вытер лоб и шею красным платком и пробасил, видимо желая положить конец пререканиям:

- А ну их к шуту, вашего Дрейфуса вместе с Емилем Золой! Бас двоих не переспоришь.

Спор на время утих, а потом как-то незаметно разгорелся снова. Но на этот раз заспорили о студенческих беспорядках. Егор Данилыч и тут оказался в одиночестве. Он сердито махнул рукой и, ни на кого не глядя, буркнул:

- А я бы их всех тоже отправил к чертовой матери - на Чертов остров, и дело с концом!

Никто ничего ему не ответил. Наступило долгое напряженное молчание. Разрядить его попыталась мама.

- Довольно вам горячиться, - сказала она спокойно. - Давайте-ка лучше свои стаканы. Я вам налью еще чайку.

И разговор опять принял как будто бы самый мирный оборот. Странные люди эти взрослые! Как это они могут после такого спора разговаривать как ни в чем не бывало обо всяких пустяках?

Нет, ни я, ни мой брат не могли так скоро простить Егора Данилыча. И когда он наконец собрался домой и протянул мне на прощанье свою большую широкую руку, я втиснул ему в ладонь подаренный мне целковый и сказал, задыхаясь от волнения:

- Возьмите, пожалуйста... Мне не надо!..

- И мне не надо! - сказал брат и тоже протянул Егору Данилычу свой целковый.

- Это еще почему? - спросил Егор Данилыч и даже слегка покраснел.

- Вы очень нехороший человек, - сказал я. - Вот почему.

А брат только молча кивнул головой. Егор Данилыч криво усмехнулся:

- Эх вы, Емели Зола!

Он положил оба новеньких целковых на столик в передней и, холодно простившись со взрослыми, переступил порог.

Мама была ужасно смущена и даже огорчена. Она побранила нас и сказала, что больше не позволит нам сидеть за общим столом, когда приезжают гости, и слушать, что говорят взрослые.

Отец ничего не сказал, но по легкой усмешке, которую он старался скрыть от нас, мы поняли, что он не сердится.

Почти так же много и горячо, как о деле Дрейфуса, говорили в течение нескольких лет о войне между англичанами и бурами в Южной Африке.

Войны, в которых участвовали наши, русские, казались мне очень давними. Сердитый старик, сторожившй арбузы на бахче, рассказывал нам, мальчишкам, в редкие минуты благодушия, как он оборонял Севастополь.

На лавочке у лабаза, где торговал Мелентьев, часами просиживал инвалид с деревянной ногой и двумя серебряными медалями на груди. Он еще помнил Шипку и "белого генерала", но по его сбивчивым рассказам мы не могли уразуметь толком, что это была за война. Одно было ясно, что русские всегда побеждали. И когда у нас на улице играли в войну, мальчишки обычно делились на русских и турок.

Но с того времени, как взрослые вокруг нас заговорили о войне в Трансваале, мы, ребята, превратились в буров и англичан, хоть и не слишком ясно представляли себе, где он находится, этот самый Трансвааль. А так как охотников быть англичанами всегда оказывалось меньше, то побеждали чаще всего буры.

Буром был и я, играя в войну сначала на улицах слободки, а потом и на гимназическом дворе.

ПРОИСШЕСТВИЯ И СОБЫТИЯ

Многое менялось вокруг нас. Не менялась только гимназия. Ничто в мире не казалось таким прочным и неизменным, как издавна установившиеся в ней порядки.

Надев гимназическую форму, мы с малых лет начинали жить по расписанию.

Так чувствует себя человек, когда садится в поезд или на пароход. Он уже не располагает своим временем, а подчиняется общему распорядку. То же было и с нами. Гимназические уроки чередовались с переменами в точно определенные часы и минуты, как в дороге остановки следуют за перегонами.

Привыкнуть к строгому расписанию было нелегко после беспорядочной и довольно вялой домашней жизни. Гимназия как бы подстегивала нас и заставляла быть бодрее. Да к тому же дома мы никогда не переживали таких волнений, какие испытывали почти ежедневно на уроках в ожидании вызова к доске или перед письменной работой.

Школа, как поезд, мчала нас из спокойного детства в жизнь, подчиненную времени, полную заботы и тревоги.

По сравнению с неприглядным бытом пригородной слободы и уездного города тогдашнего времени гимназия казалась необыкновенно богатой и парадной.

Портреты в золотых рамах, блещущие лаком кафедры, учителя в форменных сюртуках, а в особые дни даже в орденах и при шпагах, торжественные молебны и церемонные "акты", на которых выдавались аттестаты зрелости и произносились пышные речи, а вслед за тем устраивался "силами учащихся" концерт, где старшеклассиики в

праздничных мундирах играли на скрипке какой-нибудь ноктюрн или "berceuse" {"Berceuse" - колыбельная песня (франц.).} и декламировали стихи Апухтина, - все это не могло не поражать новичков, в особенности тех, кто впервые переступал порог гимназии.

Но постепенно, день за днем ребята привыкали к новой обстановке и начинали видеть за показной ее стороной унылые гимназические будни.

Будничным и однообразным было большинство уроков. Такие учителя, как Степан Григорьевич Антонов или Павел Иванович Сильванский, оживлялись только тогда, когда в них просыпалась страсть охотника, преследующего ускользающую добычу. Так, Павел Иванович из года в год охотился на тех, у кого не было атласа. Да и "немая" карта на стене служила этому зверолову западней, куда попадала чуть ли не половина класса. Океаны, моря, острова, проливы, горы, пампасы, джунгли - все то, что так увлекает подростков в книгах о путешествиях, становилось на уроках географии волчьей ямой, в которую каждый из нас мог угодить.

У Степана Григорьевича была своя западня - грамматика. Вызывал он обычно тех, на чьем лице видел явные признаки беспокойства, неуверенности. Ребята это давно уже поняли и намотали себе на ус. Тот, кто хотел, чтобы его вызвали, ерзал на месте и тревожно перелистывал страницы учебника, уклоняясь от взгляда учителя. А его сосед, не приготовивший урока, принимал самую невозмутимую позу и не сводил с Антонова глаз.

В конце кондов в западню попадал сам охотник.

Заядлыми егерями - или, вернее сказать, охотничьими собаками - были и два гимназических надзирателя, которые официально именовались "помощниками классного наставника". Они проводили весь день в коридоре, а в классы заглядывали только во время перемен или на "пустых" уроках.

Один из них - по прозвищу "Самовар" - служил до поступления в гимназию полицейским надзирателем. Но, в сущности, он и на новой службе оставался полицейским.

Он ловил гимназистов в городском саду или зимою на катке, если они задерживались на десять минут дольше дозволенного правилами часа, ловил их в театре, если они приходили на спектакль без особого разрешения начальства; на улице требовал от них предъявления "ученического билета", а иной раз даже навещал их на квартире, чтобы узнать, как они живут, с кем встречаются и что почитывают.

Особенно придирался он к ученикам-евреям. Однако это ничуть не мешало ему напрашиваться к ним на праздничные дни в гости.

Переваливаясь с ноги на ногу, подходил он во время большой перемены к тем, кто побогаче, и шутливо, будто между прочим, спрашивал:

- А правду ли говорят, будто твой батька получил к праздникам хорошую "пейсаховку"?

Ссориться с надзирателем было невыгодно, и добрый стакан "пейсаховки" (пасхальной водки) всегда ожидал его прихода.

Гораздо свободнее чувствовали себя гимназисты, когда в коридоре дежурил другой надзиратель, Аркадий Константинович Мигунов, прозванный "Шваброй".

Длинный и тощий Аркадий Константинович тоже ловил нас на улице и в театре, но он не был так энергичен, как Самовар. А на перемене или на "пустом" уроке мы заблаговременно узнавали о приближении Швабры по его громкому и судорожному кашлю, который был слышен издалека.

Однажды во время "пустого" урока ребятам удалось каким-то образом похитить из учительской классный журнал и пронести его по коридору под самым носом Аркадия Константиновича.

У нас было два классных журнала - большие плоские книги в аккуратных черных переплетах. Переплеты были такие плотные, что их крышки откидывались со стуком. Журналы эти казались нам книгами наших судеб. В одном отмечались наши успехи и

поведение, в другом - заданные на дом уроки. Заглядывать в журнал с отметками нам было строго запрещено, и только по движению руки учителя опытные второгодники иной раз догадывались, какую цифру вывел он в графе журнала.

И вот этот неприкосновенный и таинственный журнал очутился на короткое время в руках у Чердынцева, Баландина и Дьячкова. Первые двое раскрыли его на кафедре, а третий остался сторожить у дверей.

Сначала Чердынцев огласил отметки, полученные нами за последние дни. Потом он и Баландин настолько расхрабрились, что стали переправлять плохие отметки на хорошие или ставить рядом с единицами и двойками тройки и даже четверки, похожие на те, что ставили учителя. Особенно щедро дарили они хорошие отметки по предметам, которые преподавали рассеянные и забывчивые педагоги. Такими были, например, географ Павел Иванович, историк Кемарский и "француз" Леонтий Давидович, который никак не мог запомнить ни одной фамилии и вызывал нас при помощи указательного вальца.

Добрых полчаса Чердынцев и Баландин трудились над поправками в журнале.

Несколько раз во время этой опасной операции Дьячков подавал из коридора тревожные сигналы, и журнал мгновенно исчезал под крышкой кафедры.

Наконец Чердынцев сказал: "Ну, на этот раз хватит!" - и отложил перо. Классный журнал со всеми новенькими пятерками, четверками и тройками отнесли обратно в учительскую, но только после того, как Дьячков объявил, что путь свободен.

В этот день у нас было еще несколько уроков. Однако никто из учителей не заметил в журнале никаких перемен.

Казалось, все обойдется благополучно. Но вот наш географ, придя в класс на следующий день, откинул крышку журнала и стал пристально вглядываться в страницу, прищурив один глаз.

- Елкин! - сказал он удивленно. - Разве я тебя спрашивал на этой неделе?

Смущенный и перепуганный Елкин не успел встать с места, как за него ответило несколько голосов.

- Спрашивали, Павел Иванович, - сказал Баландин.

- Конечно, спрашивали! - подтвердил Чердынцев.

- И я поставил тройку?

- Откуда ж я знаю, - пробормотал Елкин. - Я же не смотрел в журнал!..

Павел Иванович покрутил головой.

- Нет, тут что-то неладно! В прошлый раз я у себя отметил, кого из отстающих надо вызвать до конца четверти, чтоб они могли переправить двойку яа тройку. Первым у меня в списке стоял Елкин... И вдруг - извольте радоваться! - против его фамилия уже стоит троечка.

Елкин неловко поднялся с места и сказал заикаясь:

- Я не виноват, Павел Иванович, ей-богу, не виноват! Вы просто забыли...

После урока Елкина потребовали к директору, а на другой день вызвали в гимназию его отца. Но на все вопросы Елкин-младший отвечал только одно:

- Что ж, я сам себе тройку поставил, что ли?

Елкин-старший, крупный человек с головой, как бы вросшей в плечи, молча выслушал директора и Павла Ивановича, а потом высказал твердое убеждение, что сын его и в самом деле ни при чем. Будь он хоть малость виноват, он бы непременно сознался до того, как получил свою порцию сполна. А "порция", ежели правду сказать, была на этот раз солидная!

На это отвечать было уже нечего, и начальство в конце концов решило отпустить Елкина-младшего с миром.

Тем дело и кончилось. Только на всякий случай - в виде предупреждения весь наш класс оставили "без обеда". Вот и все.

Как ни требовало начальство от гимназистов дисциплины, справиться с буйной вольницей ему не удавалось. Самых отчаянных ребят ставили в угол, "под часы", к стенке, оставляли на час, на два, на три после уроков, но все было напрасно. В классах по-прежнему играли в "тесную бабу" или "жали масло", то есть усаживались по пять, по шесть человек на одну скамью и так сильно тискали сидящих посередине, что у них перехватывало дух. Чуть ли не каждый день происходили во время большой перемены жаркие кровопролитные сражения. Шли класс на класс, не щадя ни носов, ни зубов, ни стекол, ни парт. Бывали и конные сражения: ребята мчались в бой верхом на своих товарищах, которые с полным удовольствием изображали резвых боевых коней.

А изредка, когда поблизости не было надзирателей, чуть ли не вся гимназия строила на перемене "слона".

Делалось это таким образом. На плечи к самым рослым парням усаживались ребята поменьше, к ним на плечи взбирались те, кто был еще меньше, и, наконец, на самый верх влезали малыши-приготовишки, почти упиравшиеся головами в потолок. Нужно было ухитриться выйти целым и невредимым из такой игры, когда все это огромное живое сооружение внезапно рассыпалось при появлении начальства или по прихоти верзил-старшеклассников, составлявших его основу.

Иногда устраивали поединок между двумя "слонами". Это была опасная забава. В лучшем случае кое-кто из участников набивал себе шишку на лбу, в худшем - дело кончалось вывихом, а то и переломом ноги или руки.

Еще более удалые игры и развлечения затевались в гимназии тогда, когда в пятый класс поступали ребята, окончившие четырехклассную прогимназию в городе Боброве. Это были дюжие добродушные парни, которым некуда было девать свою силушку. Они устраивали настоящие, нешуточные бои - "стенка на стенку", а ночью выворачивали в саду и на улице скамейки и фонари.

Таких "мальчиков" не оставляли без обеда и не ставили "под часы", а вызывали к директору и после двух-трех предупреждений отсылали восвояси.

Чаще всего жаловался на поведение гимназистов учитель немецкого языка, которого наш латинист за глаза шутливо называл "немца".

В часы, когда все преподаватели покидали учительскую и, один за другим, шли по длинному коридору в классы, впереди всех несся Густав Густавович Рихман. Высокий, не слишком полный, но довольно-таки упитанный, он шел, озабоченно приподняв правое плечо и крепко прижимая к груди оба журнала для отметок и для записи заданных уроков. Лицо у него было свежее, розовое, губы сочные. Мягкая, закругленная каштановая бородка аккуратно подстрижена. Пуговицы ярко блестели, на вицмундире - ни пылинки. Выражение лица такое, будто он только что проглотил очень вкусную и ароматную конфету.

Но стоило Густаву Густавовичу войти в класс, как настроение его мгновенно менялось.

Ученики все разом, как по команде, вставали с мест, а когда Рихман милостивым кивком головы позволял им сесть, парты начинали медленно, чуть заметно двигаться по направлению к учительской кафедре. Густав Густавович подозрительно и тревожно оглядывал ряд за рядом. Ученики чинно и спокойно сидели на своих местах, а парты все-таки двигались. Это было какое-то почти бесшумное, но грозное наступление. Прекращалось оно только тогда, когда Густав Густавович, распахнув свой сюртук, вынимал из кармашка жилета с золотыми пуговичками крошечную записную книжечку и говорил:

- На, довольна! Я хорошо знай, кто тут есть глявни машинист. Я запишу его в эта маленькая книжечка, а потом он будет беседоваль с господин директор!

- Густав Густавович! Это не мы, это парты сами двигаются. Пол очень скользкий, только сегодня натерли!..

Если немецкий урок шел первым, дежурный по классу должен был читать перед началом занятий короткую молитву.

Но, желая затянуть время, эту молитву обычно повторяли два, три, а то и четыре раза подряд.

Убедившись, что Густав Густавович ничего не замечает, молитву стали постепенно удлинять, прибавляя к ней слова других молитв, в том числе и заупокойных.

Рихман терпеливо слушал это странное попурри, стоя перед кафедрой и низко наклонив - из уважения к чужому вероисповеданию - слегка лысеющую голову.

Наконец ребята совсем обнаглели и начали служить перед немецким уроком целые молебны и панихиды.

Дежурный возглашал дьяконским голосом:

- Паки, паки, миром господу помолимся!

А все другие ребята торопливо, скороговоркой подхватывали:

- Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй!

Но Густав Густавович уже ясно видел, что его водят за нос.

- На, довольна! Никакой больше паки! Это не есть молитва перед урок!

- Да ведь теперь же у нас великий пост, Густав Густавович! оправдывался самый старший из ребят, второгодник, пытавшийся петь басом. Вот мы и читаем великопостную!

Но Густав Густавович твердо решил положить конец этим песнопениям. Он достал у нашего законоучителя, священника Евгения Оболенского, подлинный текст молитвы и, придя на урок, торжественно вынул свою шпаргалку из кармана.

- На, теперь шитайт ваша молитва. Я буду провериаль каждый слево!

Что бы ни происходило в городе или в стране, - гимназия, как заведенная, жила по своему уставу и расписанию. Однако по временам и она ощущала какие-то подземные толчки - отзвуки больших событий.

В один из февральских дней 1901 года среди уроков нас выстроили в коридоре и повели в гимназическую церковь. Пропустить один-два урока ребята были рады, но терялись в догадках, по какому поводу назначено богослужение. День был не праздничный, не царский, не юбилейный.

Только в церкви мы узнали, что молебен будет о здравии министра народного просвещения Боголепова, на жизнь которого было совершено в Санкт-Петербурге "злодейское покушение" {1}.

Помню, как бледно горели в этот снежный февральский полдень церковные свечи и как равнодушно крестились мои соклассники, молясь о выздоровлении человека, имя которого слышали первый раз в жизни. Ученики старших классов о чем-то перешептывались, вызывая явное неодобрение начальства, стоявшего впереди с благочестиво склоненными головами.

После молебна занятия возобновились. Мы ждали, что наш классный наставник, Владимир Иванович Теплых, придя на урок, объяснит нам, кто же и за что "злодейски покушался" на министра. Сами же начать разговор не решались - тем более что Владимир Иванович был в этот день как-то особенно холоден, сух и

несловоохотлив. Обычно он позволял себе надолго отвлекаться от предмета занятий и беседовать с нами на темы, очень далекие от грамматических правил и от латинского текста, который мы переводили. Но на этом уроке он как будто нарочно занимался одними только неправильными глаголами, которых в латинском языке больше чем достаточно.

Мы слыхали от старшеклассников, что Владимир Иванович не слишком одобрительно отзывается о "студенческих беспорядках" в Петербурге и в ближайшем к нам университетском городе - Харькове. Но в то же время мы не могли не заметить, с какой презрительной брезгливостью относится он к тем из учителей, которые, подобно Сапожнику - Антонову, первыми являлись поздравлять директора в день его ангела и первыми же протискивались на панихидах и молебнах в передний ряд - к самому иконостасу.

Когда Теплых бывал не в духе, никто не смел и приступиться к нему. В глазах у него появлялось выражение хмурой волчьей скуки, лоб прорезала глубокая морщина, а щеки как-то втягивались, отчего лицо казалось еще худощавее, чем обычно.

Он покинул класс после звонка, так ничего и не сказав нам о событиях, которые взбудоражили нашу гимназию и весь город.

А недели через две с лишним всех гимназистов - от приготовишек до восьмиклассников - опять построили в ряды и повели в церковь. Так же горели среди бела дня свечи, но на этот раз священник служил уже не молебен о здравии, а панихиду по тому же министру Боголепову.

- Во блаженном успении вечный покой!..

О том, кто и за что убил Боголепова, я узнал позже.

В классе у нас не было по этому поводу никаких особых разговоров. Ребята простодушно радовались, что по случаю кончины министра народного просвещения их отпустили по домам раньше обычного. Стена Чердынцев даже сказал, что хорошо бы каждую неделю устраивать по такой панихидке.

Прямо из гимназии я отправился к Лебедевым. Уж у нихто я наверное кое-что узнаю.

И в самом деле, когда я вошел в знакомую, беспорядочно заваленную книгами комнату Вячеслава, там говорили о министре, за упокой души которого только что молились в гимназической церкви.

Вячеслав крупно шагал из угла в угол. На стульях, на кровати, на подоконнике разместилось несколько его товарищей-старшеклассников.

В стороне за столиком сидела Лида Лебедева и, подперев ладонью лоб, с увлечением читала какую-то книгу в зеленоватой обложке. Но время от времени и она, не выпуская из рук раскрытой книги, поднимала голову и вмешивалась в разговор.

Здесь министра поминали не так, как в гимназии. Называли его не Боголеповым, а Чертонелеповым и рассказывали, что это именно он приказал отдать в солдаты сто восемьдесят студентов Киевского университета и разогнал лучших профессоров.

А застрелил его студент Карпович.

Я не мог точно представить себе, каков он с виду, но воображению моему рисовалась какая-то в высшей степени героическая фигура - некто, похожий на легендарного стрелка Вильгельма Телля, о котором я недавно читал.

Я не думал тогда, что через одиннадцать лет мне доведется встретить в Лондоне, в русском клубе имени Герцена, живого Карповича - бывшего студента, который когда-то убил всесильного царского министра и был приговорен к двадцати годам каторжных работ.

Карпович оказался совсем непохожим на того Вильгельма Телля в студенческой фуражке, которого я выдумал в юности. Это был еще довольно молодой, темноволосый, смуглый, крепкий с виду украинец. Он громко и весело смеялся и ни разу при мне не напомнил, что он-то и есть тот самый Карпович, о котором говорила в начале девятисотых годов вся Россия.

Уходя от Лебедевых, я бегло посмотрел на обложку книги, которую держала в руках Лида. Мне бросилось в глаза имя автора: "М. Горький".

ОТЦОВСКИЕ ПОДАРКИ

В те годы, когда литературой снабжали меня сосед-красильщик и румяный юноша Мелентьев, я был глубоко убежден, что все без исключения писатели покойники, а все книги напечатаны в какие-то незапамятные времена, - недаром же они были так истрепаны, так покоробились и пожелтели.

Наши домашние книжки выглядели чуть-чуть попригляднее, но и они были далеко не первой молодости. Приобрели их в лучшую пору, когда у родителей была еще возможность тратить деньги на книги, да и время для того, чтобы их читать. По мере того как мы росли, книжки постепенно переходили с отцовских полок в окованный железом сундук моего старшего брата. Кое-что перепадало и мне.

Помню, как брату подарили ко дню рождения - ему исполнилось тогда тринадцать лет - большой и толстый том сочинений Глеба Успенского в старом, но прочном коричневом переплете, а мне - такой же увесистый том, состоявший из нескольких номеров журнала "Северный вестник", переплетенных вместе.

Старый журнал девяностых годов, в котором печатались превыспренние и туманные рассуждения Акима Волынского, густо пересыпанные иностранными словами и многосложными философскими терминами, вряд ли мог в это время заинтересовать даже самого усердного литературоведа, а уж для меня, одиннадцатилетнего мальчика, он был таким же подходящим чтением, как синтаксис древнеассирийского языка. Подарили же мне его только потому, что ничего другого под рукой не оказалось, а по внешнему виду "Северный вестник" ничем не отличался от "Сочинений Глеба Успенского", подаренных брату, - ни объемом, ни весом, ни прочностью переплета.

Я принял подарок с благодарностью, но, конечно, ни одной страницы не прочел. Однако гордился тем, что и у меня есть настоящая книга в настоящем переплете.

Это был первый журнал в моей личной библиотеке. Я и не знал в то время, что на свете есть другие журналы, более понятные и привлекательные для моего возраста, чем "Северный вестник".

Но вот вскоре после нашего переезда в город, в дом Агарковых, отец с каким-то таинственным видом подозвал меня и брата и объявил нам, что выписал для нас из Петербурга журнал. Не старый журнал вроде "Северного вестника", а новый, который печатается сейчас и называется "Вокруг света". Получать его мы будем каждую неделю, а кроме того - за те же деньги - нам пришлют еще сочинения Фенимора Купера и Густава Эмара и две картины (олеографии): одну художника Айвазовского, другую - Лагорио. Какими звучными показались мне все эти имена - Купер, Эмар, Лагорио, Айвазовский!

День за днем провожали мы жадными глазами хромого почтальона, который упорно обходил наши ворота. Но однажды, когда мы его вовсе не ждали, он деловито завернул к нам во двор и сунул мне в руки что-то вроде тонкой книжки в белой обертке с наклейкой, на которой значился напечатанный в типографии адрес.

Много писем и посылок получал я на своем веку и продолжаю получать до сих пор, но никогда я так не радовался, как в тот день, когда была получена эта первая почта, предназначенная не для наших родителей, а для меня и брата: свеженький номер "Вокруг света" с четким, черным шрифтом на белой блестящей бумаге, со множеством рисунков, а главное - с нашими именами и фамилией на бандероли.

Для ребят, выросших в глуши, это было событием, запоминающимся на всю жизнь.

Вы только подумайте! Для вас печатается где-то в Петербурге особый детский - журнал. Какие-то неизвестные друзья заботливо преподносят вам каждую неделю новую главу повести и два-три рассказа с картинками, которые вы долго рассматриваете, прежде чем приступить к чтению. Вас, точно взрослого, обслуживает почта, посылающая к вам на дом такого занятого человека, как почтальон. Вам присвоено звание - "подписчик", и вы числитесь где-то в Петербурге, в "конторе редакции" под определенным номером - 3709-м. Вашу фамилию

и адрес печатают в типографии, чтобы наклеить на бандероль, опоясывающую номер журнала. Все это повышает ваше уважение к себе и приобщает вас к большой жизни.

День, когда мы наконец получили первый номер "Вокруг света", был праздником не только для нас, но и для отца, который умел входить во все наши радости и огорчения. Не так-то легко было ему уделить из своих скудных заработков деньги на журнал, но он готов был отказывать себе в самом необходимом, чтобы хоть на несколько дней или часов скрасить чем-нибудь нашу довольно однообразную жизнь.

Все, что мы получали от матери, которая не жалела последних сил для того, чтобы мы были сыты, одеты, обуты, казалось нам таким будничным, насущно необходимым по сравнению с подарками отца.

В этом сопоставлении таилась какая-то глубокая несправедливость. Чем щедрее бывал отец, тем более расчетливой приходилось быть матери. В сущности, она была единственным в нашей семье взрослым человеком, беспокоившимся о завтрашнем дне. До самой старости отец оставался в душе ребенком, увлекающимся, непрактичным, способным придумывать себе и другим радости даже тогда, когда суровая и трудная жизнь в них отказывала.

Я никогда не забуду, как однажды зимой я и мой старший брат - в то время еще совсем маленькие ребята - ехали с ним в поезде. На каком-то полустанке мы увидели за окном вагона старика в дубленом полушубке, продававшего пестро и весело раскрашенные глиняные игрушки - лошадок с золотыми гривами, уточек, петушков, человечков. Я не удержался и со вздохом сказал отцу, что мне очень, очень нравятся такие лошадки. Ничего не ответив, отец схватил шапку и выбежал из вагона.

Но как раз в эту минуту продавец, словно нарочно, отошел от нашего вагона вместе со своим лотком, уставленным такими заманчивыми яркими вещицами, и зашагал куда-то вдоль поезда. Мы видели, как отец бросился его догонять и тоже исчез.

Раздался третий звонок, и поезд тронулся.

Мы так и замерли от ужаса. Что-то теперь будет с отцом, с нами?..

Соседи по вагону стали успокаивать нас. Они наперебой говорили, что отец, наверно, успел вскочить в один из последних вагонов и скоро придет к нам.

Но он не пришел.

Шуба его, раскачиваясь на крючке, ехала вместе с нами, и я с отчаянием думал о том, что я натворил. Ведь это из-за меня, по моей вине отец отстал от поезда и теперь, должно быть, бредет вслед за нами по шпалам пешком, без пальто, под холодным зимним ветром. А с нами что будет? Ведь у нас нет ни билетов, ни денег... Вот тебе и лошадка с золотой гривой!..

Брат, кажется, думал то же, что и я. Он ничего не говорил, только смотрел на меня печально и укоризненно. Но вот в вагон пришел главный кондуктор поезда и высадил меня и брата, а заодно и отцовскую шубу на какой-то станции...

Эта станция - Козлов - глубоко запечатлелась у меня в памяти. Здесь мы должны были ждать отца, который послал вдогонку телеграмму с просьбой задержать нас.

Никогда за всю мою жизнь мне не было так чертовски скучно, как в Козлове, в маленьком зале буфета первого и второго класса, где мы сидели, точно арестованные, на жестком диванчике у окна.

Буфетчик, сонный человек с бледными, одутловатыми щеками, получил от начальника станции строжайшее приказание никуда не отпускать нас до приезда отца. Днем это ожидание еще не было так томительно. Мы с любопытством разглядывали сверкающий и кипящий, невиданных размеров самовар на буфетной стойке, смотрели, как суетится, прислуживая компании офицеров, смуглый, черноглазый человек с переброшенной через руку салфеткой, как за другим столиком пьет чай с домашними булочками и вареньем семья священника.

Почему-то мы привлекали к себе внимание всех входящих в зал. Одни обращались с вопросами к буфетчику, другие - непосредственно к нам.

Буфетчик сначала отвечал довольно охотно и подробно. Говорил, что нас высадили из скорого по телеграмме отца, который должен приехать за нами ночью почтовым. Другим отвечал коротко и сухо: отца, мол, ожидают - отстал в дороге. А напоследок уже еле-еле цедил сквозь зубы: "Папашу ждут!"

С нами пассажиры разговаривали ласково и так жалостливо, что нам начинало казаться, будто мы навсегда останемся здесь на диване и никто за нами не приедет. И когда большая, толстая попадья в лисьей шубе сунула нам по сдобной булочке, я чуть не заплакал от жалости к себе.

Наконец зал опустел. Последним вошел, отряхиваясь от снега и топая ногами, высокий, жилистый жандарм в длинной шинели. Подойдя к стойке, он мигом опрокинул себе в рот под усы большую рюмку водки и, уходя, сказал буфетчику, что почтовый опаздывает на три часа.

Стало совсем тихо. Только с платформы время от времени слышались то протяжные, то короткие гудки, шипение пара и гул колес. За большим окном проносились паровозы, метавшие в воздух красные искры, а за ними покорно бежали бесконечные вереницы томительно однообразных товарных вагонов. Промелькнул как-то и пассажирский поезд.

Но нас теперь даже и поезда не интересовали. Смуглый человек, прислуживавший пассажирам, рассчитался с буфетчиком и, позевывая, ушел, а буфетчик запер дверь, ведущую на платформу, просунув сквозь дверную ручку половую щетку, и скоро захрапел за своим огромным, давно уже остывшим самоваром.

Потянулись последние и самые тоскливые часы ожидания. Нас клонило ко сну, но мы всячески боролись с дремотой, так как должны были сторожить отцовскую шубу, корзину и чемодан. Разговаривать друг с другом вслух мы не решались, боясь разбудить угрюмого буфетчика, а делать нам было решительно нечего... В конце концов я все-таки уснул, оставив на попечение брата шубу и наш багаж.

Только глубокой ночью прикатил на станцию отец, взволнованный, растерянный, но с двумя глиняными лошадками в руках.

Об этом происшествии в дороге мы рассказали одной только матери. Нам не хотелось, чтобы родные и знакомые посмеивались над нашим добрым, щедрым без оглядки отцом.

И без того уже они считали его неисправимым мечтателем, фантазером, чудаком. Но, в сущности, только немногие из них знали и понимали его.

Он был простодушен, а не прост, по-юношески горяч и по-детски доверчив, способен бесконечно увлекаться новыми людьми и новыми идеями, но умел управлять своими чувствами и свято держал слово, данное себе самому и другим.

Это был человек неукротимой воли и стойкого терпения. Всякое дело он изучал серьезно и досконально. Казалось, легче разбудить спящего самым крепким сном человека, чем вывести его из того глубокого внимания, с каким он погружался в химическую формулу или даже в газету. Когда мы его спрашивали, почему он читает так медленно, он отвечал не то в шутку, не то всерьез:

- Вы небось только строчки читаете, а я и между строчек.

Так же сосредоточен бывал он в лаборатории или на заводском помосте у громадных клокочущих котлов. Напряженно думая о чем-нибудь, он бывал рассеян и нередко попадал в беду: то обожжет о горячее стекло пальцы, то нечаянно хлебнет вместо воды щелоку. Но всякую боль, как бы сильна она ни была, он переносил кротко и мужественно.

Гораздо больше страдал он от неудач и разочарований, которые преследовали его да каждом шагу. У него не было той житейской сноровки, которая помогает иной раз и безденежному человеку выбиться на дорогу. Мелкие дельцы-предприниматели, в руки

которых он нередко попадал, сулили ему золотые горы, а потом, воспользовавшись его находками, всячески старались избавиться от человека, в котором больше не нуждались.

Оставалось одно: смириться, махнуть рукою на все неосуществленные замыслы и несбывшиеся надежды и пойти на какой-нибудь мыловаренный или маслоочистительный завод обыкновенным мастером. Служить, а не изобретать. Это давало хоть и скромное, да зато определенное жалованье. Так отец впоследствии и сделал. Проработав многие годы в провинции и в Питере и уже перевалив за пятьдесят, он поступил на завод под Выборгом, принадлежавший старой и солидной фирме братьев Сергеевых.

Название этой фирмы ("Sergejeff") можно было увидеть и на ящиках мыла, и на пивных бутылках, и на вывеске лесопильного завода. Во главе дела стоял сухой, крепкий старик, сочетавший облик русского церковного старосты со сдержанно-деловитыми манерами богатого финского коммерсанта. Его подчиненные, среди которых было много финнов с русскими фамилиями (Макеефф, Ефимофф), обычно начинали службу с должности "мальчика" и не теряли почтительности и расторопности даже тогда, когда становились бухгалтерами и "прокуристами".

Все служащие Сергеева вместе составляли как бы единую семью, возглавляемую хозяином-патриархом. Среди этой публики мой отец всегда оставался одиноким и чужим. И хоть в своем деле он считался знающим и опытным мастером, хозяева после нескольких лет работы уволили его - под тем предлогом, что он, дескать, становится староват, а производство расширяется и требует руки помоложе и покрепче.

Больше года отец искал работы. Странно и горько было видеть праздным поневоле этого еще полного сил и энергии человека, который и сам знал себе цену, и с давних пор заслужил уважение своих товарищей по профессии.

Теперь у него хватало досуга, чтобы читать книги, но чтение уже не шло ему на ум. В его близоруких, доверчивых глазах появилось такое несвойственное ему выражение озабоченности.

Наконец, уже незадолго до революции, он попытался устроиться на Кубани. Там в это время начинал работать большой нефтеперегонный завод, оборудованный на заграничный лад.

Долго пришлось ему ждать ответа.

Как стало известно потом, дирекция боялась доверить новые шведские машины русскому мастеру и собиралась выписать специалиста-шведа.

Но, по всей видимости, в Швеции не нашлось охотника ехать в Россию во время войны. К немалому удивлению администрации завода, шведы порекомендовали ей обратиться к мастеру, которого они знали по своим делам с фирмой Сергеевых, - к моему отцу.

Тут только администрация согласилась взять его на работу.

До последних своих дней работал отец на заводах. В советское время он служил в Нижнем Новгороде - в нынешнем Горьком, и, когда мой старший брат, узнав о его тяжкой болезни, поехал за ним из Ленинграда, он застал старого мастера на высоком заводском помосте - у кипящих котлов.

Он мало изменился, наш отец. Голову держал все так же прямо и гордо, как во дни молодости, по-прежнему зачесывал вверх свои черные, почти не тронутые сединой волосы. И только в минуты усталости одна прядка льнула к его большому и чистому лбу, прорезанному у переносицы такой умной и доброй, издавна знакомой нам морщинкой.

Я говорю здесь так подробно о своем отце не только из желания запечатлеть, сохранить дорогие мне черты. Но мне кажется, что я ничего не мог бы рассказать о ранних годах моей жизни, не уделив несколько страниц человеку, который как бы пережил со мною свое второе детство.

Он знал весь мой класс от первой до последней парты. Знал, конечно, с моих слов. Но рассказывал я ему обо всем так охотно и подробно, что от него не ускользала ни одна мелочь нашей школьной жизни. Сам он ни в каких гимназиях не учился. Однако слушал меня не из простого любопытства. По его вопросам и замечаниям, то одобрительным, то негодующим, я чувствовал, что он видит в моей жизни как бы "исправленное, дополненное и улучшенное издание" своей, которая началась в глухом захолустье и в глухие времена. Вместе со мною и моим братом он как будто и сам проходил гимназию класс за классом и потому так глубоко вникал во все наши школьные дела, придавая значение даже тем событиям, которые показались бы всякому взрослому человеку мелкими и ничтожными.

Правда, некоторые эпизоды отец оценивал по-своему и проявлял иной раз свои особые, не всегда мне понятные предубеждения и пристрастия. Так, например, он неизменно одобрял все, что бы ни делал и что бы ни говорил пришедшийся ему по сердцу Владимир Иванович Теплых. Зато он заранее осуждал все, что исходило от Сапожника - Антонова. Всячески выгораживал и брал под свою защиту нашего немца Густава Густавовича, хотя и не мог удержаться от улыбки, когда слышал в моей передаче рассказ словоохотливого Рихмана о том, как он хотел было "фехтовайт" с ворами, похитившими у него ночью из погреба "клюбничкино" варенье, но только, к сожалению, не мог вовремя отыскать свою шпагу.

Одним моим товарищам по классу отец прощал даже самые озорные проделки, других подозревал во всех смертных грехах.

Ничего не поделаешь - таков был характер моего отца.

У него ни в чем не было середины. Людей он делил на две категории. Одна состояла сплошь из "светлых личностей", другая - из отъявленных злодеев. Любопытно было то, что очень многие из людей, которых мы знали, по очереди побывали в обеих категориях - и в "светлых личностях", и в злодеях.

Но, может быть, именно это по-детски горячее, неровное, пристрастное отношение ко всему окружающему и сближало его с нами - ребятами.

После разговоров с отцом и гимназическая жизнь казалась нам гораздо богаче, разнообразнее, и прочитанная книжка интереснее, и вся жизнь шире и заманчивее.

Он редко приезжал домой на долгий срок. Вероятно, поэтому недели и месяцы, которые он проводил с нами, казались нам особенно праздничными и заполненными. Не только мы, но и мать становилась в его присутствии спокойнее и веселее и даже позволяла себе иной раз уходить с ним на целый вечер в гости или в театр.

Он придавал всему дому какую-то бодрость и уверенность. Все яркое, необычное исходило от него: первые стихи, первые рассказы из истории, первые вести о событиях за пределами нашего дома и города.

И, наконец, тот первый детский журнал, который как бы открыл нам ворота в большой мир и назывался

"ВОКРУГ СВЕТА"

Я верил тогда названиям, и мне казалось, что журнал "Вокруг света" со всеми его бесплатными приложениями - Купером, Эмаром, картинами Айвазовского и Лагорио - в самом деле обещает мне кругосветное путешествие.

НОВОСТИ В ГОРОДЕ И В ГИМНАЗИИ

Я еще не знал тогда, что журнал можно критиковать, находить в нем недостатки. Нам не с чем было его сравнивать. Мы принимали все, как должное: вот, думали мы, какие бывают журналы.

Не только я, но и мой старший брат прочитывали каждый номер от первой строчки до подписи редактора в конце последней страницы и были от души благодарны за все, что журнал нам дарил.

Я и сейчас помню, - хоть с тех пор прошло уже более шестидесяти лет, печатавшуюся с продолжениями переводную повесть о двух мальчиках, которых в

разное время похитил бродячий цирк. Мальчики эти становятся самыми близкими друзьями и в конце концов оказываются родными братьями, сыновьями французского офицера. Младший из них, Жан, прозванный в цирке Фанфаном, благополучно возвращается домой, а старшего - по имени Клодинэ - родители находят слишком поздно: он безнадежно болен и красиво умирает на глазах у читателя, - как те бледные мальчики в бархатных курточках, чью безвременную смерть с таким удовольствием изображала Лидия Чарская.

Трудно понять, как могла эта сентиментальная мелодрама заинтересовать меня в ту пору жизни, когда я уже читал и перечитывал Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Но, как это ни странно, "Капитанская дочка", "Шинель", "Герой нашего времени" мирно уживались у меня на полке, да и в моем сознании с такими детскими книгами, как "Маленький лорд Фаунтлерой" Вернет или "Князь Илико" Желиховской.

Вероятно, эти повести привлекали меня тем, что их герои были моими ровесниками, а читатель-ребенок, при всем своем жадном интересе к жизни взрослых, все же нуждается и в книге, рассказывающей о приключениях и переживаниях юности.

А может быть, детские романтические повести, лишенные особой глубины, но полные событий, были для меня в известной мере отдыхом и развлечением. Во всяком случае, Густав Эмар, Майн Рид, а несколько позже Александр Дюма более всего увлекали меня и моих сверстников тем стремительным развитием сюжета, которое современные дети и подростки находят на экране.

Да, эти сюжетные книги с иллюстрациями были нашими фильмами до изобретения кинематографа.

Я проглатывал их залпом, пропуская подчас строчки и даже целые страницы, чтобы поскорее узнать развязку запутанного клубка событий.

Подобно американцам, я любил "счастливые концы" и потому предпочитал книги, в которых рассказ ведется от первого лица. Это давало мне уверенность, что герой романа, рассказывающий о самом себе, не умрет от чахотки, не утонет и не застрелится. Но оказалось, что и это не всегда гарантирует герою безопасность. Бывает и так, что рассказ от первого лица где-то на последних страницах внезапно прерывается несколькими рядами точек, а затем - уже от третьего лица - спокойно сообщается, что герой приказал долго жить...

Наиболее острые, загадочные, запутанные сюжеты я находил в переводных романах. Одолев такой роман, я мог пересказать довольно подробно его содержание, но в памяти моей редко удерживались строчки подлинного текста, реплики действующих лиц.

А из Пушкина, Гоголя, Лермонтова, из "Кавказского пленника" Льва Толстого запоминались не только отдельные строчки, но иной раз целые страницы. На всю жизнь врезались мне в намять тихие слова Акакия Акакиевича Башмачкина из "Шинели", которую я прочел в десятилетнем возрасте: "Зачем вы меня обижаете?.."

Вероятно, в ту же пору жизни я накрепко запомнил диалог из лермонтовского "Маскарада".

- Что стоят ваши эполеты?

- Я с честью их достал, - и вам их не купить...

Меня пленяла четкость и острота этих двух беглых реплик, похожих на звонкие удары скрестившихся рапир. Правда, мне было не совсем понятно, что значит "с честью их достал", но я чувствовал и едкий цинизм насмешливого вопроса, и молодое, эффектно-благородное негодование в ответе офицера.

"Маскарад" я читал еще в пригороде - на Майдане. У меня не было, да и не могло быть тогда ни малейшего понятия о нравах светского общества, и единственным офицером, которого я знал до того времени, был все тот же воронежский военный врач, лечивший меня в раннем детстве. И все же до меня полностью дошла сущность колкого разговора между князем Звездичем и его партнером по карточному столу.

Детских библиотек и читален в это время у нас в городе еще не было, если не считать той маленькое библиотечки, которая целиком умещалась в небольшом книжном шкафу, стоявшем у нас в классе под "научной" картиной с надписью: "Тропический лес". Такие же скромные библиотечки были и в других классах.

Книги выдавал раз в неделю - по субботам - наш "законоучитель", еще довольно молодой священник, отец Евгений Оболенский, носивший шелковую лиловую рясу и заботливо холивший свои темно-каштановые, кудрявые, не слишком длинные волосы и небольшую бородку.

Книг в его шкафу было очень мало, а интересных и того меньше. И объяснялось это, как я узнал позднее, не бедностью, а строгим отбором, не допускавшим в гимназические библиотеки книг, в которых были малейшие признаки вольного духа.

Басни Крылова, "Детские годы Багрова-внука" и "Тарас Бульба" стояли здесь рядом с "Юрием Милославским", "Ледяным домом" и "Аскольдовой могилой", а дальше шли книги авторов, имена которых я забыл или никогда не знал, - о "белом генерале", о "царе-освободителе" да еще о каком-то "Мехмед-Бее, мамелюке тунисском".

Были здесь и сборники детских пьес, по своему языку и стилю запоздавших более чем на полвека. И все же названия некоторых из этих пьес остались у меня в памяти. Наверно, это потому, что я со своими одноклассниками тщетно и долго искал среди них что-нибудь такое, что можно было бы разыграть на гимназическом вечере.

Почему-то авторы этих пьес скрывались под инициалами - "С-н" или "ЭГр-р", - а пьесы назывались:

"Избалованное дитя. Комедия в 1 действии".

"Ленивица. Драма (!) в 1 действии".

"Бедность, честность, счастье, или Марсельская сирота. Драма в 5 действиях". И все в таком же роде.

Как-то недавно мне попала в руки книжка, тоже оказавшаяся моей старинной знакомой. Прочитав заглавие "Очерки жизни и сочинений Жуковского, составленные П. Басистовым", я сразу вспомнил, что видел точно такую же в нашем классном книжном шкафу. Тогда она мало заинтересовала меня, а теперь даже ее поблекший переплет и старинный шрифт так трогательно напомнили мне давние времена, что у меня возникло желание познакомиться с ней поближе.

Одна из ее глав называлась торжественно и таинственно: "История души Жуковского по его стихотворениям".

Другую главу составитель назвал короче: "Черта благотворительности Жуковского". В ней обстоятельно рассказывалось, как Жуковский, получив от одной дамы-писательницы в подарок книжку, послал ей с камер-лакеем сто рублей, а затем лично навестил эту даму и долго беседовал с ее прелестной в своей наивности маленькой дочкой о пользе изучения русской грамматики.

С необыкновенной деликатностью и грацией говорит автор книги о происхождении Василия Андреевича Жуковского, который, как известно, был незаконнорожденным сыном богатого помещика Бунина и пленной турчанки Сальхи.

"У помещика... Афанасия Ивановича Бунина, - пишет этот биограф, - было несколько взрослых дочерей, но ни одного сына, - и он охотно усыновил мальчика, родившегося почти сиротою (!); мать Жуковского, Лизавета Дементьевна, была также принята в дом Афанасия Ивановича..."

По счастью, немногие из моих соклассников довольствовались тем запасом книг, которым заведовал отец Евгений Оболенский. Мы охотились за книгами, где только могли, и обменивались своими находками друг с другом.

Пожалуй, я был счастливее в своих поисках, чем очень многие из моих сверстников. Меня снабжали книгами и Лебедевы и Гришанины. Да к тому же я читал все, что доставал для меня и для себя старший брат.

Скоро я свел знакомство с владельцем нового, только что открывшегося у нас в городе "Писчебумажного и книжного магазина". Здесь я впервые обнаружил "Библиотечку Ступина", а потом и целую серию изданий "Посредника" и "Петербургского комитета грамотности".

Помимо того, что эти книжки были дешевы, они казались мне - особенно "Библиотечка Ступина" - необыкновенно привлекательными.

Ребята любят все маленькое. Вернее сказать, они любят видеть маленьким то, что обычно бывает большим. При этом маленькое должно быть настоящим, то есть сохранять все черты и пропорции большого.

Такими казались мне издания Ступина при всей их миниатюрности. Вероятно, издатель нашел удачный формат, шрифт, цвет обложки и хорошо выбрал рассказы, подходящие для дешевой общедоступной библиотечки.

Самая фамилия издателя не казалась мне случайной. Как-то невольно и подсознательно я осмыслил ее, связав со словом "ступенька". Каждая книжка этой библиотечки была для меня ступенькой какой-то лестницы.

Я помню далеко не все имена авторов книг, прочитанных в этом возрасте, а вот фамилию издателя почему-то хорошо запомнил.

Не я один сохранил добрую память о книжечках Ступина. Многие из моих современников рассказывали мне, что их тоже радовали эти маленькие, словно игрушечные, но вполне "всамделишные" книжки.

Дети знают, что такое благодарность, и умеют сохранять ее надолго.

До сих пор, закрыв глаза, я могу совершенно отчетливо, до мельчайших подробностей, представить себе острогожский "Писчебумажный и книжный магазин". Впервые в жизни увидел я там на полках так много превосходной чистой бумаги - целые стопы аккуратно обрубленных белых, гладких листов с голубоватыми линейками и клеточками и безо всяких линеек и клеточек.

Да и, кроме бумаги, чего-чего там только не было! Толстые книги в тисненных золотом переплетах и тонкие в ярких, лихо разрисованных обложках, объемистые общие тетради в глянцевитой клеенке. И тут же на прилавке под прозрачным стеклом еще более заманчивые вещи: перочинные ножички - нарядные, перламутровые и темненькие, попроще, - раскрашенные пеналы, альбомы для стихов, резинки с напечатанными на них черными или красными слонами, линейки, циркули, перышки - богатейший набор перьев от маленького, тоненького, почти лишенного веса, до крупных, желтых, с четко выдавленным номером: "86".

Ни один магазин в городе не казался мне таким интересным и богатым, как этот, хоть вывеска у него была поскромнее и помещение потеснее, чем у бакалейщиков и галантерейщиков. Да и народу бывало в нем меньше.

Забежит, бывало, на несколько минут шумная компания гимназистов, гимназисток или "уездников", потолчется у прилавка, накупит всякой всячины тетрадок с розовыми промокашками, бумаги для рисования и черчения, блестящих, гладких, так вкусно пахнущих деревом и лаком карандашей, а заодно и полюбуется переводными картинками. Впрочем, маленькие гимназистки предпочитали картинки "налепные" - штампованные, выпуклые, изображавшие ярко-пунцовые венчики роз и пухлых ангелочков.

Таким покупателям владелец магазина - тихий и серьезный человек, с виду похожий на поэта Некрасова, - долго задерживаться у прилавка не давал. Зато любителям книг он благосклонно и беспрепятственно разрешал проводить у книжных полок целые часы. Они спокойно, не торопясь, раскрывали книгу за книгой и вели между собой и с хозяином долгие разговоры о том, что именно "хотел сказать" автор своей повестью или романом.

Меня владелец магазина на первых порах причислял к той категории покупателей, которые интересуются перышками да картинками, в только потом через полгода или год, - почувствовав во мне страстного читателя, милостиво допустил меня к полкам. Я бережно перелистывал толстые романы и повести, а томики стихов проглатывал тут же, не сходя с жеста.

Чуть ли не через день заглядывал я в "Писчебумажный и книжный магазин".

Книгами торговали у нас в городе и прежде. А вот такого просветителя, как владелец нового магазина, у нас еще не бывало. Это было своего рода знамение времени.

Знамением времени было и появленье у нас в гимназии нового преподавателя русского языка в литературы - Николая Александровича Поповского.

Старый преподаватель словесности Антонов был несловоохотлив, сух и не допускал никакой вольности - ни в мыслях, ни в стиле изложения. Его пугал малейший отход от буквальности. Встретив в работе восьмиклассника выражение "глубокая мысль", он дважды подчеркивал его и писал на полях: "Глубокой может быть только яма".

Почему только яма, а не море, не океан, - это было понятно одному лишь Степану Григорьевичу. Может быть, он и не верил в существование океанов, которых поблизости от Острогожского уезда нет и никогда не было.

Он был глубоко прозаичен, презрителен и грубоват, наш учитель словесности. Во время урока лицо его казалось окаменевшим. Он мало интересовался тем, как относятся к нему гимназисты, которых он едва удостаивал беглым взглядом из-под очков.

Так смотрит на пассажиров, подходящих к окошечку, старый усталый железнодорожный кассир, который замечаем своих клиентов только в случае каких-нибудь недоразумений или пререканий.

Степана Григорьевича было трудно вообразить без мешковатого форменного сюртука с золотыми наплечниками. Он отнюдь не был безобразен: напротив, черты его лица отличались правильностью и отсутствием особых примет достоинствами, которые он так ценил в классных работах учеников.

Сидел он на своем преподавательском стуле прочно и неподвижно до самого конца урока, и если шевелил рукой, то только для того, чтобы почесать в раздумии щеку, погладить бороду или поставить в классном журнале двойку, тройку, в лучшем случае четверку. Пятерками он своих учеников баловал редко. Зато излюбленной его отметкой была единица. Кол.

Нам казалось, что Сапожник будет неразлучен с нами до конца наших гимназических дней. Но вышло иначе. Классы поделили между ним и новым преподавателем.

Новый появился у нас в одно прекрасное утро безо всякого предупреждения. Он весело и бодро взошел на кафедру, - молодой, прямой, высокий, чуть ли не на голову выше своего предшественника, тоже отличавшегося немалым ростом, но как-то раньше времени осевшего.

Молодой преподаватель был родом с юга. Это было видно по матово-смуглому цвету лица, но черным блестящим волосам и бородке, по темно-карим глазам, глядевшим смело и открыто из-под крутых сросшихся бровей.

В первые же дни после прихода в наш класс Николая Александровича Поповского гимназистам стали известны мельчайшие подробности его жизни.

Они разведали, где от живет и у кого столуется, узнали, что окончил он духовную семинарию, а затем и университет, что в наш город он приехал не один, а со своей сестрой-курсисткой, очень похожей на него, и что между собой эта пара чаще всего говорит по-молдавски, на своем родном языке, хоть и русским владеет в совершенстве.

В классе нового учителя встретили с интересом, даже с некоторым любопытством. Да и было чему удивляться. Поповский был так не похож на своего предшественника и ни других сослуживцев по гимназии! С учениками был вежлив, всем говорил "вы". После первой письменной работы очень скоро возвратил тетрадки, не поставив ни одной отметки.

Вместо цифры, выведенной красными чернилами, каждый из моих соклассников нашел под своей работой несколько кратких замечаний Поповского. В тетради Коли Ястребцева, одного из первых ваших учеников, было написано:

"Все правильно, ни одной ошибки, но язык беден, бесцветен. Надо больше читать. Н. П."

На первых своих уроках Николай Александрович попросту разговаривал с нами обо всякой всячине и только потом начал "спрашивать" - да и то с места, то есть без вызова к доске или кафедре. Тем, кто знал урок не слишком твердо, это было на руку, так как с места легче и подсказку услышать, и заглянуть в раскрытую, лежащую под крышкой парты книгу. Так многие и делали: отвечали Поповскому то под суфлера, то по книге. А другие, глядя на них, посмеивались над простоватым новичком-учителем и были уверены, что он ничего не видит перед собой, кроме книги, которую держит в руках, ничего не слышит, кроме звуков собственного голоса.

Понемногу самые искусные и опытные мастера подсказки и шпаргалки совершенно перестали церемониться на уроках Поповского.

Особенной изворотливостью отличался наш Степа Чердынцев. Все свои способности он тратил на то, чтобы водить за нос учителей и поражать товарищей неожиданными и дерзкими проделками. Дома его баловали, учителя с великим трудом перетаскивали из класса в класс. В первый же год своего пребывания в гимназии Степа отличился тем, что, обжигаясь и дуя на руки, украл из печки сторожа Родиона горшок гречневой каши. Украл, конечно, не с голоду, а так, скорее из удальства. Но все же кашу уплел до последней крупинки. Несколько лет после этого его дразнили "Кашей".

Товарищи подтрунивали над ним и в то же время искренне восхищались его непревзойденной ловкостью. С искусством и усердием паука опутал он чуть ли не весь класс нитками, по которым передвигались от одной парты к другой шпаргалки. Отвечая урок, он каким-то образом ухитрялся приклеивать шпаргалку к стенке кафедры под самым носом преподавателя.

В конце учебного года учитель математики обычно предоставлял ему возможность переправить двойку на тройку. Но, готовясь к вызову, Чердынцев не занимался, как другие, зубрежкой или решением задач, но и не сидел без дела, а старательно исписывал цифрами всю оборотную сторону классной доски, перенося на нее со шпаргалки решение задач, которые - по неизвестно откуда добытым сведениям - мог предложить ему учитель. А когда его наконец вызывали, он так яростно и энергично выводил на доске цифру за цифрой, что мел крошился у него в руке и он должен был чуть ли не каждую минуту заглядывать за доску, где хранились запасные кусочки мела. После этого он более или менее благополучно справлялся с задачей и получал тройку. Больше; ему и не нужно было.

Когда задачу приходилось решать не на доске, а в тетради, Степу выручала шпаргалка, спрятанная в рукаве. Она была на резинке и при первой же опасности мгновенно уходила в рукав. Вероятно, специально для этой цели Степа - один во всем классе - носил накрахмаленные манжеты.

Впрочем, на уроках Поповского никто не торопился прятать шпаргалки, и секретный телеграф, по которому Степа Чердынцев переговаривался с другими партами, действовал вовсю.

Но вот однажды, когда урок отвечал долговязый Сыроваткин, а Степа спокойно и почти беззвучно подсказывал ему, глядя в раскрытую на парте книгу, Николай Александрович вдруг нахмурился, покраснел и сказал громко и твердо:

- Садитесь, Сыроваткин. Довольно. Вам я ставлю двойку за ответ, а Чердынцеву двойку за поведение.

И, со стуком откинув толстую крышку классного журнала, Поповский решительным движением вывел на его странице две крупные двойки. Первые двойки с тех пор, как он пришел в наш класс.

Никто этого не ожидал. Класс затих, а Сыроваткин и Чердынцев почти в один голос спросили:

- За что, Николай Александрович?.. За что?

Поповский поднялся с места.

- Как за что? И вы еще осмеливаетесь спрашивать! Больше месяца терпел я это издевательство. Ведь я все видел, но только мне было стыдно - понимаете ли, стыдно - ловить вас за руку, как мелких воришек. Кого вы обманываете?.. Если вы хотите остаться безграмотными, оставайтесь - воля ваша. Но в таком случае вам незачем занимать эти места за партами. Ведь на них могли бы сидеть честные и способные юноши, из которых вышел бы толк.

Николай Александрович немного помолчал, а потом заговорил более спокойно:

- Вот что, господа. Не для того я стал учителем, чтобы донимать учеников единицами и двойками, оставлять без обеда, выгонять из класса. Дайте мне возможность учить вас, а не воевать с вами!

Он опять помолчал, как будто ожидая ответа. Молчали и мы.

И вдруг он улыбнулся и сказал своим обычным ровным и звучным голосом:

- Итак, я надеюсь, вы прекратите эту нелепую комедию, и мы будем жить с вами в мире. А вас, Чердынцев, я попрошу на первой же перемене убрать подальше все ваши хитроумные изобретения. Надеюсь, они вам больше не понадобятся. Попробуйте жить честно. Я предлагаю вам такой уговор. Завтра у нас в классе будет письменная работа. Я освобождаю вас от нее, но зато вы должны будете тут же, при мне, выучить урок, который я вам задам. Не бойтесь, - всего две-три странички, не больше! За это я поставлю вам в году тройку, а может быть, и четверку, и вы перейдете в следующий класс без переэкзаменовки. Идет? Согласны?

Чердынцев кивнул головой.

- Ну вот и хорошо. А пока прощайте.

За дверью уже заливался, обегая все коридоры, гулкий звонок. Урок был окончен.

На следующий день наш новый учитель пришел в класс в самом лучшем настроении. День был весенний - ветреный, но теплый. Деревянные дома, которых в городе было немало, потемнели от сырости. Почернели и голые деревья. Казалось, весь город был нарисован черным угольным карандашом.

В классе у нас была открыта форточка в еще влажный городской сад. Легкий ветер то и дело вздувал на стенах огромные карты Европы и Азии с темно-коричневыми горами, зелеными низменностями и синими морями.

От весеннего тепла и крепкого, свежего воздуха нас одолевала дремота, и минутами нам чудилось, что сверкающая желтым и черным лаком кафедра вместе с учителем уплывает куда-то вдаль, становясь все меньше и меньше. Нужно было усилие, воли, чтобы преодолеть это приятное оцепенение.

Вдруг из городского сада явственно донесся какой-то низкий, лениво-добродушный женский голос:

- Мишутка, а, Мишутка, где же ты? Хочешь молочка, детка?..

Почему-то во время школьного урока все постороннее, неожиданное, частное, врывающееся в класс из вольного, живущего своей жизнью мира, всегда кажется странным и смешным. Так было и на этот раз. Ребята засмеялись, а кто-то на последней парте проговорил нараспев таким же густым голосом:

- Мишутка, а, Мишутка!..

Николай Александрович не обратил никакого внимания на эту вольность. Он только слегка улыбнулся и захлопнул журнал, в котором уже успел отметить, кого нет в классе. После этого он задал нам письменную работу, прошелся раз-другой по

комнате и подсел к Степе Чердынцеву.

- Ну вот, Чердынцев, - сказал он, - сегодня мы с вами докажем всему классу, что умеем работать. Верно? Давайте-ка выучим до конца урока эти полторы странички. Если вы ответите мне хоть на тройку, лето у вас не будет испорчено. Но дело, в сущности, даже не в этом, а в том, чтобы вы научились наконец ходить прямыми дорогами, а не петлять, как заяц. Ну, в добрый час!

В классе было тихо. Слышался только скрип наших перьев да спокойные шаги Николая Александровича, который, заложив руки за спину, медленно прохаживался по классу.

Время от времени все мы невольно прерывали работу и с любопытством поглядывали на Степу, учившего урок. Это было невиданное зрелище! Он сидел, не подымая головы, подперев кулаками пухлые щеки и зажмурив свои и без того узкие, обычно такие лукавые, глаза. Наши взгляды, видимо, смущали его. Он так любил козырять перед нами своей бесшабашной удалью, а теперь сидел тихо и смирно, как сдавшийся в плен и обезоруженный наездник-головорез.

Урок приближался к концу. Один за другим отдавали мы свои тетрадки Николаю Александровичу или сами несли их на кафедру. Окончив работу, мы уже не отрывали глаз от Степы.

В книгу он больше не смотрел, а занимался самыми разнообразными делами: то с трудом вытаскивал из тесного переднего карманчика брюк новенькие черные часы, то засовывал их обратно и принимался тщательно оттачивать карандаш.

Эх, не попадись он вчера так глупо, не пришлось бы ему сейчас сидеть без дела. Не теряя ни одной минуты зря, он бы ловко и быстро орудовал испытанным арсеналом своих шпаргалок. Да уж теперь ничего не поделаешь! Сам свалял дурака - поддался на уговоры этого хитрого халдея, который целый месяц прикидывался блаженным только ради того, чтобы вернее поймать на удочку бедного Степу.

Но вот Николай Александрович подошел к парте, за которой сидел Чердынцев, и остановился, вопросительно на него поглядывая.

Чердынцев молчал.

- Ну, как дела? Надеюсь, вы готовы? - спросил Поповский.

Степа только ниже опустил свою круглую, коротко остриженную голову.

- Что же вы молчите? Я спрашиваю, можете ли вы уже отвечать?

Степа тяжело встал с места и, глядя куда-то в сторону, сказал сквозь зубы:

- Не могу...

- Но хоть что-нибудь вы за этот час приготовили? - все еще с надеждой спросил Поповский. - Ну, страницу, полстраницы?

Степа как-то странно надулся, засопел, и вдруг неудержимые слезы горохом посыпались у него из глаз. Он заревел, как маленький, - всхлипывая, захлебываясь, вытирая глаза кулаками.

Николай Александрович даже испугался.

- Что с вами, Чердынцев?..

- Не могу, Николай Алексаныч! Ей-бо, не могу!

- Чего не можете?

- Ничего запомнить не могу!

- Но ведь вы же не тупица, Чердынцев! Подумать только, сколько труда, хитрости, изобретательности тратили вы на то, чтобы несколько лет обманывать своих учителей!.. А на честную работу вы не способны?

- Не способен! - едва слышным шепотом сказал Чердынцев.

БЕЗ СТАРШИХ

В те дни, когда на пустынном заводском дворе я водил палочкой по земле, переходя от одного построенного мною городка к другому и сочиняя историю некоего странствующего героя, я и не предполагал, что эта игра была как бы предчувствием моей собственной судьбы.

Разница была только в том, что мой герой выходил и? тлуши и безвестности в большой, полный событий мир, уже достигнув зрелого возраста, а в моей жизни такой перелом произошел гораздо раньше.

После переселения нашей семьи с окраины в город мы не прожили на месте и двух лет, как стали готовиться к новому переезду - и не куда-нибудь, а прямо в столицу, в Питер, в Санкт-Петербург! Это не было осуществлением широких планов нашего отца. Просто ему предложили в Петербурге работу на небольшом, еще только строившемся в то время заводе.

Я и мой старший брат уже успели мысленно обойти все улицы столицы, известные нам по Пушкину и Гоголю, когда выяснилось, что нам обоим придется остаться в Острогожске, так как нет никакой надежды добиться нашего перевода в какую-нибудь из петербургских гимназий.

Мать утешала нас тем, что в Питер мы будем ездить два раза в год - на летние и зимние каникулы. Остальное же время будем жить в Острогожске, у дяди.

И вот, как мы когда-то мечтали, к вокзальной платформе шумно подкатил поезд, но увез он из Острогожска не всю нашу семью, а только мать, сестер и маленького брата (отец был уже в это время в Петербурге).

Впервые я и старший брат были оторваны от большой и дружной семьи. Мы оба очень скучали, но в то же время у нас было какое-то новое, непривычное ощущение свободы и самостоятельности. Без старших мы зажили почти по-студенчески. Правда, брат считал своим долгом следить за тем, чтобы я не слишком поздно ложился спать и не пропускал уроков. Это давалось ему нелегко, так как он был по горло занят своими собственными уроками - всякими там греческими глаголами и тригонометрическими формулами - и к тому же в первый раз в жизни влюблен.

Я знал или, вернее, догадывался об этом только по обрывкам его разговоров с товарищем. Меня в свою тайну он не хотел допустить - должно быть, по привычке все еще считал меня маленьким.

Он был так скромен и застенчив, мой старший брат, что даже не пытался познакомиться с веселой, смуглой и кудрявой гимназисткой, завладевшей его сердцем. Он считал себя вполне счастливым, если ему удавалось бросить на нее беглый взгляд в городском саду или на улице.

Мне было обидно, что от меня что-то скрывают, и я решил доказать брату и его товарищу, что давно уже вышел из младенческого возраста.

Я познакомился с двоюродным братом черноглазой гимназистки (он был одним классом старше меня), потом и с нею самой - и очень скоро получил приглашение на ее именины.

Трудно передать, как был ошеломлен мой брат, когда я как-то вскользь, мимоходом, сказал ему, где собираюсь провести вечер.

Карманных денег у нас с ним было очень мало, и все же он купил мне ради этого торжественного случая крахмальный бумажный воротничок, а потом - к вечеру - нанял для меня за гривенник извозчичью пролетку с двумя великолепными фонарями.

Помню, с каким грохотом покатил я по булыжной мостовой, а брат остался на перекрестке, грустно и задумчиво глядя мне вслед.

Вернулся я в этот вечер довольно поздно - часов в двенадцать, - но брат еще не спал.

Долго и осторожно расспрашивал он меня обо всех, кто был на именинах, стараясь не показать виду, что больше всего его интересует сама именинница.

Уже засыпая, я отвечал ему нехотя и невпопад.

Таким допросам подвергал он меня каждый раз, когда мне случалось бывать в этом доме. "Ну, а она что? А ты что? А он что?"

Скоро я стал настолько своим человеком в семье моих новых знакомых, что мне уже ничего не стоило намекнуть, чтобы туда пригласили и брата.

Он долго готовился к этому посещению, гладил брюки, чистил ботинки себе и мне.

Но на первых порах визит был не слишком удачен. Брат стеснялся, молчал, а на черноглазую гимназистку, которая и всегда была смешлива, ни с того ни с сего напал такой бешеный порыв беспричинного смеха, что она только кусала губы, и на ее густых ресницах дрожали крупные капли слез. Мать укоризненно поглядывала на нее, а брат мой краснел и хмурился, видимо, подозревая, что виновником этого бурного веселья был именно он.

Чтобы как-нибудь спасти положение, я на правах старого знакомого хозяев предложил брату прочесть что-нибудь вслух. Я чувствовал, что это избавит его от необходимости поддерживать вялый, натянутый разговор и поможет ему преодолеть застенчивость. В гимназии он считался отличным чтецом и не раз участвовал в литературных вечерах. Но, должно быть, он гораздо меньше волновался, выступая перед публикой в актовом зале, чем здесь, в маленькой, скромной гостиной под взглядом любопытных и насмешливых черных глаз.

Долго перелистывал он томик Чехова, не зная, на чем остановиться.

Я тихонько толкнул его под локоть:

- "Хирургию" прочти!

Брат благодарно кивнул головой, слегка откашлялся, и вот в комнате неожиданно зазвучали, перебивая друг друга, два голоса: один - ноющий, гнусавый, другой - хриплый, басистый.

С первых же строк внимание слушателей было завоевано.

Я гордился братом, а наша юная хозяйка была, должно быть, от души благодарна ему за то, что могла наконец дать волю неудержимому смеху, не боясь кого-нибудь обидеть.

В общем, все остались очень довольны, хвалили брата и, провожая, просили заходить почаще.

На этот раз, укладываясь в постель, мы почти не разговаривали друг с другом. Брат был погружен в свои мысли, а я радовался тому, что не должен, борясь со сном, отвечать на его бесконечные вопросы.

Я был совершенно уверен, что в ближайшее время он непременно воспользуется приглашением заходить почаще, но этого не случилось. Только изредка бывал он у новых знакомых, да и мне не советовал "злоупотреблять гостеприимством".

Я смотрел тогда на вещи гораздо проще, и мне была непонятна такая чрезмерная щепетильность. Только много лет спустя я понял, как бережно относился брат к этим встречам. Каждая из них была для него настоящим событием.

В эти месяцы моей вольной, почти самостоятельной жизни я стал все чаще и чаще заглядывать в наш новый "Писчебумажный и книжный магазин", где можно было не только найти свежую, только что полученную из столицы книжку, но и поговорить о современной литературе с любителями чтения, среди которых особенно рьяным был, пожалуй, сам Длинноволосый и остробородый хозяин лавки.

В сущности, только теперь, в первые годы нынешнего столетия, я и мои сверстники

узнали, что такое "современная литература".

В гимназии литературу проходили не дальше Тургенева и Гончарова, да и то в самых старших классах, но добирались мы до них - а еще раньше до Жуковского, Пушкина и Гоголя - медленно и долго через Антиоха Кантемира, Сумарокова, Хераскова. Для нас это было путешествием по унылой пустыне, в которой почти не было оазисов.

Если в гимназии оказывался умный и талантливый учитель, нас еще могли заинтересовать отдельные, наименее устаревшие отрывки из Ломоносова и Державина. С удивлением различали мы в этих старинных строчках могучие и своеобразные голоса.

А у заурядных преподавателей словесности даже Державин казался продолжением кантемиро-херасковской пустыни.

Да и не только Державина, но и Пушкина заодно с Лермонтовым и Гоголем ухитрялись состарить и притушить такие словесники, как наш тяжеловесный и скрипучий Степан Григорьевич Антонов, недаром получивший от своих благодарных учеников пожизненное прозвище "Сапожник".

Как прививают людям вакцину, для того чтобы они не заболели по-настоящему, так постепенно - скучной зубрежкой отрывков из "Евгения Онегина" (главным образом о временах года) да еще писанием сравнительных характеристик Онегина и Ленского или Татьяны и Ольги - вырабатывали у нас иммунитет к Пушкину, как бы заботясь только о том, чтобы мы не "заболели" им всерьез.

И это нашим словесникам удавалось в полной мере. Нелегко было после них почувствовать прелесть и свежесть строчек, вырванных из пушкинских поэм. Словно какие-то мозоли оставались у нас в мозгу от бесконечного повторения лирических отрывков из гоголевской прозы.

Однако все же, хоть по казенному шаблону, с классикой гимназия нас кое-как знакомила. А вот литературы наших дней она и совсем не признавала, будто дойдя до "Обрыва" Гончарова, кончалась обрывом и вся наша изящная словесность!

Новых, современных изданий пуще огня боялась гимназическая библиотека. Она была похожа на остановившиеся часы, показывающие давно прошедшее время.

Но вот наши крылья настолько подросли и окрепли, что мы сами пустились на поиски чтения, которое могло бы утолить юношеский жадный интерес к новым чувствам и мыслям.

Где только можно было, у товарищей и знакомых, искали мы последние издания классиков и современных писателей - книги, пахнущие не пылью и затхлостью чулана, а свежей типографской краской.

Не помню, как и когда попал в руки брату, а потом и мне тонкий, большого формата номер еженедельного журнала с крупным узорным заголовком "Нива". В этом номере на видном месте была напечатана глава из нового романа Толстого "Воскресение" с рисунками художника Пастернака.

О Толстом толковали тогда много и противоречиво. Его жизнью, ученьем, спорами с церковью и правительством интересовались самые разные люди. Одни называли его учителем, подвижником, другие ни за что не хотели поверить в искренность этого графа, который почему-то сам себе шьет сапоги и ходит босой.

Не мудрено, что мы с жаром ухватились за эту случайно попавшую нам на глаза главу толстовского романа. Не так-то легко было собрать роман целиком, разыскать все тетрадки "Нивы" от первой до последней. И, однако же, мы нашли их и были щедро вознаграждены за свои старания: впервые открылась нам в книге та самая жизнь, которая окружала нас, как воздух.

Самые увлекательные из романов, прочитанных нами до того - Тургенева, Гончарова, Григоровича, - все-таки относились к прошлому, хоть и к недавнему. А тут современность подступила к нам вплотную, к самым нашим глазам, да еще современность, прошедшая перед суровым и мудрым судом такого художника, как Толстой.

В сущности, именно с толстовского "Воскресения" и началось для нас знакомство с новой литературой, которую так осторожно обходила наша гимназия.

Одно за другим узнавали мы новые имена, различали голоса, которых раньше не слышали.

Увлечение писателями-современниками начиналось для нас почти так, как обычно начинается любовь. Вот среди прочих лиц мелькнуло незнакомое, но чем-то привлекательное лицо. Мы еще не выделяем его из множества других, а наша память уже бережет его на всякий случай, почти без участия сознания. Но вот вторая встреча, и мы уже радуемся Знакомым чертам и всматриваемся в них гораздо пристальнее. А там, глядишь, знакомство, которое еще недавно казалось таким случайным, уже становится частью нашей жизни, определяет нашу судьбу, и мы даже представить себе не; можем, как это мы могли существовать без того, что теперь для нас так дорого и важно.

Помню, как впервые для меня прозвучал со сцены насмешливый, полный веселого задора голос молодого Чехова. Я еще не знал тогда, что такое Чехов, и раньше запомнил названия его маленьких пьес - "Медведь", "Предложение", чем имя их автора. Потом как-то незаметно у нас вошло в обычай читать вслух короткие чеховские рассказы. Мы наслаждались их легкостью, простотой, безупречной верностью наблюдения.

Трудно припомнить, когда и как научились мы узнавать в каждой новой чеховской странице тот пристальный, серьезный и внимательный взгляд, устремленный в самую глубь нашего времени, который, пожалуй, стал для нас вернейшей приметой Чехова.

Он входил в нашу жизнь исподволь, легкой поступью, как будто бы ничего особенного не обещая, но оставляя в нашем сознании все более глубокий и прочный след.

Такой постепенности не было в нашем знакомстве с другим большим писателем, появившимся на рубеже двух веков, - с Горьким.

Это имя я услышал задолго до того, как впервые раскрыл небольшой томик в зеленоватой обложке.

Было что-то тревожащее и притягательное в доходивших до нас обрывках биографии этого нового писателя, в самом облике его и даже в имени.

Горький. Имя это как бы говорило о горькой судьбе, родственной многим судьбам на Руси. И в то же время оно звучало как протест, как вызов, как обещание говорить горькую правду.

А какой причудливой, разнообразной, правдивой до грубости и в то же время поэтической жизнью пахнуло на нас со страниц его молодых рассказов. Словно ветер, прилетевший откуда-то из степи или с моря, разом распахнул у нас все окна и двери.

Мы вдруг узнали и поверили, что и в наше время есть на земле смелые, вольнолюбивые люди, непоклонные головы, и что жизнь свою можно выбирать, а не идти но готовым, давно проложенным дорожкам.

Самые имена горьковских героев пленяли нас своим неожиданным, непривычным для слуха, почти сказочным звучанием.

Многие из взрослых недоверчиво покачивали головами, пытаясь уверить нас, что Горький - это какой-то самозванец, насильно вторгшийся в тургеневские сады русской литературы, что краски его грубы, а герои надуманы.

Но никакие скептические замечания не могли расхолодить уже влюбленную в него молодежь.

Помню, как прочли мы впервые широкие, полные сдержанной силы, неторопливо размеренные строчки "Буревестника":

Над седой равниной моря ветер тучи собирает...

Набрав полную грудь воздуха, мы читали эти стихи во всю силу голоса, стараясь передать то пронзительные, то глубокие трубные звуки, которые мы так явственно различали в этих зовущих словах:

Он кричит, и - тучи слышат радость в смелом крике птицы...

...То кричит пророк победы: "Пусть сильнее грянет буря!.."

Мне было лет тринадцать - четырнадцать, когда я вместе со старшеклассниками внимательно разглядывал переходившую из рук в руки открытку, на которой был изображен широкоскулый молодой человек с мечтательно-хмурым лицом, с крутым изломом прямых, падающих на висок волос. На нем была белая косоворотка, подпоясанная ремешком.

Это был Горький.

В то время я и не предполагал, что скоро мне доведется встретиться с ним и эта встреча окажет решающее влияние на всю мою дальнейшую судьбу.

БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ

Наконец наступили каникулы - те самые, которые нам предстояло провести в Петербурге.

Невский проспект, набережные с памятником Петра по одну сторону Невы и сфинксами по другую, Петропавловская крепость и Адмиралтейство, Зимний дворец и Летний сад - вот что рисовалось нам, когда мы пытались вообразить этот великолепный, такой знакомый и такой загадочный город Санкт-Петербург.

Впрочем, мы уже знали, что жить нам придется не на Английской или Французской набережной и не на Невском проспекте. Но и проспект, который был обозначен на конвертах писем, полученных нами от родных, представлялся нам блестящим и праздничным. Как-никак, а все-таки это не простая улица, а проспект! И какое у него звучное название - "Забалканский"!

Родные ни разу не писали нам, как выглядит Забалканский проспект и дом, в котором они поселились. На открытках, полученных от матери, едва умещались ее бесчисленные вопросы о нашем здоровье, о том, как мы учимся, и не протерлись ли у нас рукава, и не износились ли подметки.

А в редких, но пространных письмах отца было много щедрой ласки, много добрых наставлений, но ни слова о том, в котором этаже они живут, во дворе или в квартире, выходящей окнами на улицу, в центре или на окраине.

Все это оставалось для нас загадкой до самого приезда в Питер.

Собрались мы в дорогу легко и быстро - не так, как собиралась когда-то наша семья, начинавшая укладывать вещи чуть ли не за две недели до отъезда.

Всю заботу об упаковке взял на себя брат, никогда не доверявший мне дел, требующих особого порядка и аккуратности. Однако и для меня нашлось ответственное поручение: сторговаться с извозчиком и позаботиться о том, чтобы он рано утром без малейшего опоздания был у наших ворот.

Я обошел целую шеренгу извозчиков, прежде чем мне удалось найти такого, который согласился отвезти нас на вокзал за шесть гривен.

Было еще совсем темно, когда копыта извозчичьей лошади застучали по настилу моста неподалеку от вокзала. В пролетке вместе с нами ехали две спутницы, неожиданно вызвавшиеся проводить нас до ближайшей станции Копанище, - черноглазая гимназистка, которая так нравилась моему брату, и ее подруга. Всю дорогу мы болтали, смеялись, пели и не заметили, как перед нами внезапно выросло одноэтажное кирпичное здание с высокими и узкими окнами. Это и был вокзал.

Спуская с козел нашу корзину, извозчик покрутил головой и сказал:

- Ну и веселые господа! Сколько вожу, а таких не видывал. Надо бы по этому случаю прибавить гривенничек!..

И мы прибавили.

Кажется, еще никогда так стремительно и шумно не подкатывал к платформе паровоз, никогда еще так ярко и весело не блестели желтые вагонные скамейки, как в это утро.

С беззаботной легкостью - не так, как другие пассажиры, долго прощавшиеся и хлопотавшие около своих вещей, - сели мы в поезд. Впрочем, пассажиров было на этот раз немного. В нашем вагоне, кроме нас четверых, не оказалось ни души. Мы чувствовали себя свободно и непринужденно, и спутницы наши вздумали даже потанцевать друг с дружкой между рядами скамеек. Однако они тут же вспомнили, что времени у нас не слишком-то много, и предложили нам наскоро позавтракать вместе с ними. В корзинке у них оказались завернутые в бумагу тарелочки, вилки, ножи, а еще глубже были аккуратно уложены пирожки, котлеты, бутерброды, яблоки. К нашим припасам они запретили нам даже прикасаться, - ведь у нас впереди была еще такая долгая дорога.

Солнце только всходило за окнами, обещая ясную погоду. Как жалко, что мы не можем провести вместе весь этот чудесный майский день!

Длинный и гулкий гудок паровоза внезапно напомнил нам, что пора прощаться.

Провожая наших приятельниц до вагонной площадки, брат обещал часто писать им и дал каждой из них наш петербургский адрес. Но они обе только покачали головой. Неужели мы будем помнить о них, очутившись в шумной столице!

Они уже говорили с нами, как скромные, затерянные в глуши провинциалки - с людьми, живущими в Петербурге светской, рассеянной жизнью.

Брат не успел еще ничего ответить им, когда наш поезд остановился, подался назад, чуть не свалив нас всех с ног, и остановился снова.

Девочки быстро пожали нам руки и сбежали со ступенек на платформу.

В петербургской извозчичьей пролетке с поднятым над нашими головами кожаным верхом - в это время моросил дождь - въехали мы во двор дома на Забалканском проспекте.

Это был двор, каких мы еще не видывали - чистый, просторный, гладко вымощенный, с двухэтажным каменным домом, садиком в углу и со множеством статуй из белого и черного мрамора, разбросанных в беспорядке от ограды до ограды. Статуи чаще всего изображали печальных, склонившихся перед алтарем женщин в покрывалах, спадающих волнистыми складками, и маленьких кудрявых ангелов, грациозно простирающих ввысь круглые, в мраморных жилках, ручонки.

Неужели же мы будем жить на этом дворе, в этом небольшом, уютном и нарядном доме? Нет, оказывается, здесь живет сам хозяин, владелец скульптурной мастерской, итальянец Ботта. А мы едем дальше - во второй двор. Дома здесь похуже. Кирпичные их стены не облицованы гладкими розовато-серыми плитами, как хозяйский дом, и даже не оштукатурены. Но и это еще не наш двор. Извозчик везет нас дальше - на третий, окруженный невысокими флигелями и весь загроможденный огромными телегами с поднятыми кверху оглоблями.

Едва только мы въехали на этот третий двор, нас оглушил разноголосый шум: удары молотка по железу, надрывный плач ребенка, хриплая песня гармошки, ржанье и дробный топот лошадей в конюшне.

По узкой, полутемной, грязноватой лестнице поднимаемся мы во второй этаж одного из флигелей.

Это и есть наша столичная, петербургская квартира! О том, что она наша, можно догадаться и безо всяких объяснений: достаточно взглянуть на плюшевую - слегка потертую - скатерть, памятную нам еще со времен Майдана, на старый комод,

украшенный знакомой парой серебряных подсвечников, на висящую над столом большую керосиновую лампу.

Отец замечает наше разочарование и, как всегда, бодрым, полным уверенности голосом говорит нам, что это жилье - только временный привал и что скоро мы отсюда переедем. У нас будет прекрасная, просторная квартира при заводе за Московской заставой.

А пока он обещает показать нам Петербург. Для этого он освободится завтра пораньше и, если только не будет дождя, прокатит нас на пароходике по Фонтанке и по Неве, поведет в зоологический сад, угостит на Невском знаменитыми филипповскими пирожками.

По старой памяти он, видно, считает нас еще маленькими и предлагает нам программу, которая года два тому назад привела бы нас в полный восторг. А впрочем, откровенно говоря, мы и сейчас не прочь проехаться на пароходе и отведать филипповских пирожков, хоть и знаем, что Петербург может дать гораздо больше того, что обещает нам от своего щедрого сердца отец.

Мы и в самом деле чувствовали себя чуть ли не детьми, во всяком случае моложе своего возраста, в тот чудесный праздничный день, когда отец впервые возил нас по Петербургу, покупал для нас билеты на плавучей, слегка покачивающейся под ногами пристани, усаживал за мраморный столик открытого кафе н заботливо спрашивал, не хотим ли мы еще мороженого. За несколько месяцев разлуки мы успели отвыкнуть от такой заботы, и теперь она особенно трогала нас.

Но сколько ни увидели мы в тот первый день, пожалуй, гораздо полнее и глубже узнал и почувствовал я город через несколько дней, когда решился постранствовать по его улицам совсем один.

Само путешествие доставляло мне радость. Взобравшись по узкой лесенке на империал конки, я скользил глазами по стройным рядам высоких строгих домов, как бы сливающихся в один огромный дом от перекрестка до перекрестка.

Конка движется так неспешно, что я успеваю прочесть чуть ли не все вывески парикмахерских, кондитерских, ресторанов, банков, страховых обществ, бюро похоронных процессий, винных погребов и ломбардов.

В Острогожске у нас только один книжный магазин, а здесь их целые кварталы. Есть огромные, с зеркальными витринами, а попадаются и такие, где еле-еле умещаются продавец и покупатель.

Меня так и подмывает соскочить на ходу с подножки конки и нырнуть в эту непроходимую книжную чащу. Но мне некогда. Меня ждут Невский проспект, Сенатская площадь, Нева.

И вот уже я шагаю по Невскому. Впереди бледным золотом сияет игла Адмиралтейства с кружевным корабликом на острие. Невский так широк, что дома по обеим его сторонам кажутся ниже, чем на самом деле. Да они и вправду не слишком высоки, и от этого здесь светлее, просторнее, чем на других улицах. А как весело и празднично звучит перестук множества копыт на торцовой мостовой!

Два потока людей движутся навстречу один другому по широким панелям из каменных плит.

Я совсем один в этой пестрой толпе куда-то спешащих или чинно прогуливающихся людей. И оттого, что меня здесь никто не знает да и сам я не знаю никого, я чувствую себя свободным - будто кто-то подарил мне шапку-невидимку.

Я брожу по незнакомому городу без провожатых, но все узнаю: мосты, статуи, соборы, дворцы, арки. Можно подумать, что я когда-то уже бывал здесь и потому так уверенно нахожу дорогу к Сенатской площади, к Неве и памятнику Петра.

И если несколько дней тому назад, разъезжая по Питеру с отцом, я казался самому себе маленьким, то здесь, у гранитной ограды Невы или у подножья скалы, на которой застыл на всем скаку Медный Всадник, я чувствую себя вполне взрослым

человеком, причастным к жизни взрослых, к истории, к поэзии.

Северные летние сумерки обманули меня: я и не заметил, как подошла белая ночь. Улицы стали понемногу пустеть. Я шел домой, прислушиваясь к четкому стуку своих шагов, вглядываясь в серовато-голубой сумрак, легкий, прозрачный, не мешающий глазам видеть.

В скверах над стрижеными газонами лежали белые волокнистые полосы тумана. Пахло сыростью и землей, будто я не в Петербурге, а где-то на окраине, на огородах.

И этот простой, неожиданный запах делал еще более странной эту ночь без темноты, так непохожую на другие ночи.

Пока я шел, край неба заалел. Ранняя заря заиграла на стеклах верхних окон.

Дома в тревоге ждали меня родные. Они так обрадовались моему возвращению, что не стали меня бранить, а я был благодарен им за то, что они ничем не омрачили мою первую белую ночь.

Наши каникулы кончались, а мы и сами не знали, радует нас или печалит предстоящее возвращение в Острогожск.

Грустно было снова расставаться с родными, жалко покидать только что открывшийся нам во всем своем великолепии Петербург. Но с каждым днем все милее казался и брату и мне далекий, маленький, почти сплошь деревянный Острогожск, где была наша гимназия, где жили все наши сверстники, товарищи, друзья.

Не знаю, куда, в какую сторону побежал бы я сначала, кого из товарищей повидал бы первым, если бы внезапно очутился в Острогожске. Хотелось увидеть все и всех сразу, снова оказаться по горло занятым, всем и каждому нужным, каким был я до отъезда в Питер.

Так чувствует себя, должно быть, человек, возвращающийся из отпуска в далекий полк, где у него есть определенное положение, точные обязанности, издавна установившиеся отношения с людьми.

Мы и сами не заметили, как стали считать остающиеся до отъезда дни. Особенно не терпелось брату. Он аккуратно переписывался с Острогожском и бережно хранил приходившие оттуда на его имя письма. Я был гораздо легкомысленнее и за все время каникул не написал ни одного письмеца.

Вспоминая об этом я мучился угрызениями совести и еще больше скучал по затерянному где-то вдалеке Острогожску.

Этот скромный город, где не было ни одного дворца, ни одной триумфальной арки и памятника на площади, казался мне в те времена гораздо более жилым, населенным, чем торжественный и многолюдный Петербург.

Я уже довольно свободно разбирался в петербургских улицах, многие из них измерил шагами из конца в конец, наблюдал их и в дневные часы, и вечером при свете газовых фонарей. Но за каменными стенами многоэтажных зданий я не чувствовал еще живущих там людей, не представлял себе их обстановки и уклада.

Те семьи, с которыми успели познакомиться в столице мои родители, в сущности, оставались и здесь провинциальными и жили во временных, случайных и неуютных квартирах.

А вот настоящих, коренных петербуржцев я еще не встречал.

Однако вскоре - еще до отъезда нашего в Острогожск мне довелось познакомиться и даже коротко сойтись с ними.

Вот как это случилось.

Один из новых знакомых нашей семьи прочел мои стиха и рассказал обо мне известному в городе меценату. А тот, в свою очередь, расхвалил мои поэмы и

переводы - да не кому-нибудь, а самому Стасову.

Владимир Васильевич Стасов позвал меня к себе.

Этот человек, которому шел в то время - летом 1902 года - семьдесят девятый год, встретил меня приветливо, по-стариковски ласково, но с какой-то скрытой настороженностью. Должно быть, не раз приводили к нему всяких малолетних музыкантов, художников, поэтов, и он прекрасно знал, как редко они оправдывают те большие надежды, какие на них возлагают друзья и родственники.

А может быть, он попросту был очень утомлен после долгого, наполненного разнообразными встречами дня. Во всяком случае, начиная читать свои стихи, я видел его крупные опущенные веки, и мне казалось, что он спит.

И вдруг его глаза открылись, и я увидел перед собой совсем другое лицо - оживленное, помолодевшее. Таким он становился всегда, когда был чем-нибудь заинтересован или растроган.

Я начал с переводов, потом читал собственные стихи и, наконец, расхрабрившись, прочел целую шуточную поэму о нашей острогожской гимназии. Слушая меня, Стасов громко хохотал, вытирая слезы, и некоторые, особенно хлесткие места заставлял повторять дважды.

С этого дня в моей жизни и начались события, круто изменившие весь ее ход.

Петербург перестал быть для меня чужим, незнакомым городом, однообразным строем многоэтажных, наглухо закрытых домов. Дом Стасова, такой петербургский по своему характеру и вкусу, широко открыл передо мной двери и сразу породнил меня с этим строгим и умным городом.

Чуть ли не каждый день бывал я у Владимира Васильевича то дома, то в Публичной библиотеке.

С каким жадным любопытством, с каким счастливым ожиданием чего-то нового поднимался я всякий раз по широкой, устланной красным ковром лестнице, которая вела не в читальный зал, а в просторные, тихие комнаты книгохранилища, где по одному, по двое работали ученые сотрудники библиотеки.

У Стасова не было своего отдельного служебного кабинета. Перед большим окном, выходившим на улицу, стоял его тяжеловесный письменный стол, огороженный щитами. Это были стенды с гравированными в разные времена портретами Петра Первого. На одних гравюрах он был изображен по пояс, в стальных латах, на других - в мантии, во весь рост. На третьих - это был всадник на вздыбленном коне. Гневные, полные воли и энергии черты Петра и его боевой наряд придавали мирному уголку книгохранилища какой-то своеобразный, вдохновенно-воинственный характер. Впрочем стасовский уголок библиотеки никак нельзя было назвать "мирным". Здесь всегда кипели споры, душой которых был этот рослый, широкоплечий, длиннобородый старик с крупным, орлиным носом и тяжелыми веками. Он никогда не сутулился и до самых последних своих дней высоко нес непреклонную седую голову. Говорил громко и, если даже хотел сказать что-нибудь по секрету, почти не снижал голоса, а только символически заслонял рот ребром ладони, как это делали старинные актеры, произнося слова "в сторону".

Со мною Стасов обращался безо всякой снисходительности, как со взрослым, хоть и говорил мне "ты" и называл меня "Маршачком". Впоследствии при каждой встрече он прибавлял мне какое-нибудь новое шутливое прозвище:
"Маршачок-Судачок-Чудачок-Усачок" и т. д.

Впрочем, чаще всего он называл меня короче - "Сам" (уменьшительное от "Самуил") и на книге, которую он мне подарил, написал: "Сам, пожалуйста, будь всегда сам и меня никогда не забывай. Желаю поскорей большой рост - в сажень!"

Помню, в одну из первых наших встреч я задержался в библиотеке у Владимира Васильевича до конца его занятий.

Вместе мы вышли из подъезда библиотеки и свернули на Невский, продолжая разговаривать.

Было уже около пяти часов вечера, но все еще ярко светило солнце. На улицах было много народу. Прохожие то и дело оглядывались на идущего большими шагами седобородого великана и еле поспевающего за ним мальчика в гимназической фуражке с гербом, в котором поблескивают две буквы "О. Г." ("Острогожская гимназия").

Пройдя несколько шагов, Стасов нанял извозчика на Пески, на Седьмую Рождественскую, где была его квартира, но по дороге остановился у книжного магазина Суворина.

Продавцы встретили его, как старого знакомого. Пошутив с ними (Владимир Васильевич редко обходился без шутки), он попросил подобрать для него целую библиотечку дешевых суворинских изданий. Тут были томики Пушкина, Лермонтова, Баратынского, Гоголя - все в одинаковых картонных переплетах.

Когда мы вышли на улицу, Владимир Васильевич сказал мне своим громким шепотом:

- Это все тебе. Повезешь в свой Острогожск!

С тех пор я не раз заходил за Стасовым, чтобы вместе ехать к нему на Седьмую Рождественскую.

Как запомнились мне эти наши поездки! Мне нравилось сидеть в широкой пролетке рядом с Владимиром Васильевичем, разговаривать с ним, посматривая по сторонам и невольно прислушиваясь к мягкому постукиванию копыт по торцовой мостовой и звонкому - по булыжной.

Вот перед нами подъезд многоэтажного серого дома на Песках.

Щедро расплатившись с извозчиком, Стасов выходит из пролетки и быстро поднимается по лестнице, обгоняя меня и продолжая на ходу, через плечо, начатый разговор.

Сильно дергает он ручку звонка, и домашние сразу догадываются, что это возвратился хозяин.

Перекинувшись с ними несколькими приветливыми, шутливыми словами, он проходит к себе в кабинет - в довольно тесную, узкую комнату, уставленную строгой старинной мебелью и увешанную портретами. Больше всего мне запомнились два репинских портрета: один Льва Толстого, другой - сестры Владимира Васильевича, Надежды Васильевны, замечательной женщины, одной из основательниц Бестужевских женских курсов. Стенная лампа с рефлектором мягко освещает умное, сосредоточенно-суровое лицо, гладкие волосы под темной наколкой, скрещенные худые руки.

Владимир Васильевич укладывается на старинный неширокий диван с намерением отдохнуть до обеда, но отдыхать он не любит и не умеет. Через полчаса он опять на ногах, и мы усаживаемся обедать за большой стол, за которым не раз сидели Мусоргский, Бородин, "Римлянин" (как называл Стасов Римского-Корсакова), Репин, Шаляпин.

Пожалуй, еще больше любил я бывать у Стасова за городом - в деревне Старожиловке, близ Парголова.

На даче Владимир Васильевич укладывал меня на ночь в своей комнате, наверху, и часто будил меня громовым, стасовским, шепотом:

- Сам, ты спишь?

После этого обращения я уже, конечно, не спал и, пользуясь стариковской бессонницей хозяина, забрасывал его множеством вопросов.

Кого только не знал он на своем веку! Мне даже не верилось, что эта рука, которую я так часто держу в своей, пожимала когда-то руку баснописца Ивана Андреевича Крылова, руку автора "Былого и дум" и редактора "Колокола" Александра Ивановича Герцена.

У Стасова была давняя дружба со "Львом Великим", как он неизменно называл Льва Толстого. Он был близко знаком с Гончаровым и с Тургеневым, с которым вел бесконечные споры о музыке, о литературе.

Он рассказывал мне, как однажды он и Тургенев завтракали вместе в ресторане (Стасов говорил: "в трактире"). Беседуя о чем-то, они неожиданно сошлись во мнениях. Тургенева это так удивило, что он тут же вскочил из-за стола, подбежал к открытому окну и крикнул своим очень высоким, почти женским голосом:

- Вяжите меня, православные! Тургенев с ума спятил - он согласился со Стасовым!

На все мои бесчисленные вопросы Владимир Васильевич отвечал охотно и подробно.

Но один мой вопрос ошеломил его.

Не подумав, я как-то брякнул:

- А с Державиным вы встречались, Владимир Васильевич?

- С Державиным?! - медленно и удивленно повторил Стасов. - Да ты еще, чего доброго, спросишь, знал ли я старика Мафусаила!

С тех пор я старался не задавать Владимиру Васильевичу таких опрометчивых вопросов.

Уж очень было бы жаль, если бы он махнул на меня рукой и решил, что не стоит толковать со мной о далеких временах, о которых у меня имеется самое смутное представление.

А между тем эти устные рассказы Стасова были для меня мостом к очень давней и великой эпохе. Владимир Васильевич родился в 1824 году, в год смерти Байрона. Во время его детства и юности взрослые говорили еще об Отечественной войне, как о событии, лично имя пережитом. И еще совсем свежа была память о восстании декабристов со всеми Допросами, доносами и карами, которые за ним последовали.

Когда погиб Пушкин, Владимиру Васильевичу было тринадцать лет. Юношей студентом Училища правоведения - читал он многие, впервые напечатанные, страницы Гоголя. Он был единственным человеком, провожавшим вместе с Людмилой Ивановной Шестаковой ее брата, Михаила Ивановича Глинку, когда тот в последний раз уезжал за границу, А уж о Мусоргском и Бородине Стасов мог бы рассказать больше, чем кто-либо из оставшихся в живых современников.

К сожалению, я был еще слишком молод и не мог как следует воспользоваться щедрой готовностью Владимира Васильевича делиться со мною тем, что хранила его необъятная память.

С трогательной заботливостью старался он приобщить меня ко всему, что было ему самому дорого.

Он повез меня в Академию художеств и попросил Ивана Ивановича Толстого, вице-президента Академии, показать мне библейские рисунки Александра Иванова. Он брал меня с собой на органные концерты, где исполнялась музыка композитора, которого он ставил выше всех других, - Баха.

Помню, как после одного из таких концертов он решительно тряхнул головой и сказал:

- И после всего этого помирать? Нет, не согласен!

В то время, когда я готовился к отъезду из Петербурга, Стасов тоже собирался в путь - ко Льву Николаевичу Толстому в Ясную Поляну. Для Владимира Васильевича это не было простой поездкой в гости, а настоящим паломничеством.

"Лев Великий" занимал в его жизни особое - значительное и важное место. Знакомство их было давнее. Они постоянно переписывались друг с другом, и всякий раз Стасов по-детски радовался, увидав на конверте крупные, тонкие, не вполне разборчивые буквы толстовского почерка.

Не жалея времени и сил, подбирал он для Льва Николаевича исторические материалы, относящиеся то к следствию по делу декабристов, то к войне с Шамилем. Толстой не скупился на просьбы, зная, что добрый, издавна влюбленный в него Владимир

Васильевич готов добыть все необходимые ему документы хоть со дна морского. На стасовском столе в Публичной библиотеке мне часто случалось видеть объемистые пакеты, предназначенные к отправке в Ясную Поляну.

Впрочем, с такой же самоотверженной заботливостью подбирал когда-то Стасов материалы для Бородина и Мусоргского, а в мое время - для совсем еще молодых, никому не известных композиторов и художников.

За несколько дней до нашего расставания Владимир Васильевич повел меня к известному и модному в то время фотографу, Карлу Карловичу Булла, мастерская которого помещалась на Невском в двух шагах от Публичной библиотеки.

Старый и совершенно лысый Карл Карлович, сохранивший на память о своей давно минувшей молодости только густые, черные как смоль брови, чрезвычайно обрадовался приходу Стасова и сразу же направил на него чуть ли не всю тяжелую артиллерию своих аппаратов.

Но Владимир Васильевич закрыл лицо обеими руками и сказал, что на этот раз он привел сниматься своего молодого приятеля.

Приветливый Булла, у которого даже лысина сияла весело и празднично, выразил по этому поводу живейшее удовольствие и двинул свои аппараты на меня.

Вероятно, если бы я пришел к нему в ателье один, он поручил бы мою особу заботам своих младших помощников. Но так как привел меня Стасов, Булла счел своим долгом заняться мною лично. Он много раз пересаживал меня с кресла на диван, а с дивана - на пуф, легкими, осторожными движениями наклонял мою голову то направо, то налево и долго следил за выражением моего лица, прежде чем открыл и снова закрыл круглой крышкой блестящий глаз большого аппарата.

Через несколько дней мы вместе с Владимиром Васильевичем зашли в фотографию за снимками. Они ждали нас в конверте, четко отпечатанные и тщательно отретушированные.

Много лет в доме у нас хранилась ничуть не выцветшая и не потускневшая карточка, изображающая мальчика в белой гимназической блузе, глубоко задумавшегося над толстой книгой. Книгу эту заботливо раскрыл передо мной Карл Карлович Булла, и называлась она, сколько мне помнится, "Каталог новейших фотографических аппаратов и объективов фирмы Цейс",

Другую - точно такую же - карточку получил Стасов. Он бережно положил ее в свой бумажник и спрягал во внутренний карман сюртука.

А через два дня мы расстались.

Я простился с Владимиром Васильевичем до зимних каникул. Однако нам довелось увидеться гораздо раньше.

Три дня пути с пересадками и долгими остановками, и мы опять очутились в Острогожске. По-прежнему живем у дяди в узкой комнате с окошком во двор будто и не было в нашей жизни Петербурга, будто он нам только приснился. Через несколько дней мы начнем ходить в гимназию, и время потянется так, как тянулось и в прошлом и в позапрошлом году.

И все же за эти два-три летних месяца что-то вокруг меня неузнаваемо изменилось. Не тот стал Острогожск, не те дома и люди.

Чуть ли не прямо с поезда обежал я всех своих друзей и товарищей, побывал у Лебедевых, у Гришаниных, точно на крыльях облетел весь город - и в первый раз почувствовал, какой он маленький, как легко исходить его вдоль и поперек.

В Петербурге мне казалось, что все мои новые встречи, впечатления, события только для того и выпали на мою долю, чтобы мне было о чем рассказывать в Острогожске. А здесь я почувствовал, что все мои мысли в Петербурге и я жду

зимних каникул еще до начала осенних занятий.

Да тут еще вдобавок на нас свалилось неожиданное огорчение. Наши приятельницы-гимназистки, с которыми брат так усердно переписывался летом, не пожелали даже встретиться с нами.

Это было так странно и необъяснимо, - ведь еще совсем недавно они сами вызвались проводить нас, и даже не до вокзала, а до ближайшей станции.

Вскоре выяснилось, что эти-то проводы и были всему виной. Кто-то из знакомых увидел девочек на станции, когда они садились в вагон вместе с нами, и толки об их поездке пошли по всему городу. Об этом сами они узнали только перед началом занятий, когда их матерей вызвали для объяснения к гимназическому начальству.

В первые дни мы всячески искали случая поговорить с. девочками, уверить их, что мы готовы на любую жертву, чтобы только защитить их от сплетен и пересудов. Но все было напрасно, - они словно отгородились от нас непроницаемой стеной.

Особенно горевал мой брат. Он ходил из угла в угол по комнате, упорно думая, как восстановить справедливость и спасти так внезапно и нелепо прерванную дружбу. Но он слишком ясно понимал, что всякий неосторожный шаг может только повредить нашим и без того напуганным приятельницам.

Что касается меня, то я по-настоящему сочувствовал и брату и девочкам, но в самой глубине души были у меня другие тревоги и заботы. Я догадывался, что не сегодня-завтра в жизни моей должен произойти решительный поворот.

Однако я исправно ходил в гимназию, сочинял шутливые стихи для журнала, который мы по-прежнему выпускали с Леней Гришаниным, бывал у Лебедевых, где старшеклассники вели ожесточенные споры о литературе и политике, но со дня на день ждал чего-то, сам не зная чего.

И вот однажды, придя домой из гимназии, я нашел на столе конверт, на котором необычным, похожим на узор, почерком был написано:

Его высокородию

Самуилу Яковлевичу

Маршаку

Торопливо вскрыл я конверт и в правом верхнем углу листа почтовой бумаги увидел надпись:

Москва, 15 августа 1902 г.

Письмо было от Стасова.

Он писал, что в одном из разговоров с Толстым упомянул и о встрече со мной.

"...среди всех наших разговоров и радостей я нашел одну минуточку, когда стал рассказывать ему про новую свою радость и счастье, что встретил какого-то нового человечка, светящегося червячка, который мне кажется как будто бы обещающим что-то хорошее, чистое, светлое и творческое впереди. Он слушал - но с великим _недоверием_, как я вперед ожидал и как оно и должно быть. Он мне сказал потом, с чудесным выражением своих глубоких глаз и своею мощною, но доброю улыбкою: "Ах, эти мне "Wunderkinder"!

Сколько я их встречал и сколько раз обманывался! Так они часто летают праздными и ненужными ракетами! Полетит, полетит светло и красиво, а там и скоро лопнет в воздухе и исчезнет! Нет! Я уже теперь никому и ничему между ними не верю! Пускай наперед вырастут, и окрепнут, и докажут, что они не пустой фейерверк!.."

Слово "вундеркинд" было мне до тех пор незнакомо, но все же я догадался, что оно значит, и немного обиделся.

Зато конец письма не только утешил, но и взволновал меня чуть ли не до слез.

Стасов писал:

"Я и сам то же самое думаю, - и я тоже не раз обманывался. Но на этот раз немножко защищал и выгораживал своего _новоприбылого_, свою новую радость и утешение! Я рассказывал, что, на мои глаза, тут есть какое-то в самом деле золотое зернышко. И мой ЛЕВ как будто склонял свою могучую гриву и свои царские глаза немножко в мою сторону. Тогда я ему сказал: "Так вот что сделайте мне, ради всего святого, великого и дорогого: вот, поглядите на этот маленький портретик, что я только на днях получил, и пускай Ваш взор, остановясь на этом молодом, полном жизни личике, послужит ему словно благословением издалека!" И он сделал, как я просил, и долго-долго смотрел на молодое, начинающее жить лицо ребенка-юноши".

Трудно сказать, что больше всего тронуло меня в этом письме: молчаливое ли благословение Толстого или эта удивительная просьба доброго и восторженного Владимира Васильевича, не забывшего обо мне и в Ясной Поляне.

А через месяц он уже добился моего перевода в петербургскую гимназию, и я навсегда распрощался с Острогожском.

Провожало меня на этот раз много народу - родственники, товарищи, друзья. Но в вагон со мною вошел только мой брат. И тут я по-настоящему понял, что первый раз в жизни мы с ним расстаемся надолго. Мне хотелось сказать ему на прощанье какие-то особенные, нежные слова, но он не слушал меня. Задвигая одну корзинку под лавку вагона и пристраивая другую на верхней полке, он умолял меня не выходить на станциях, не терять денег и билета и немедленно телеграфировать ему по приезде в Петербург.

Только четкие и гулкие три звонка на платформе заставили его наконец покинуть вагон.

ТРИ ПЕТЕРБУРГА

И вот я снова в столице.

Если в прошлый приезд я считал себя в Петербурге гостем и, осматривая город, старался увидеть и запомнить как можно больше, то на этот раз я уже не проявлял такой жадности. Я был здесь дома и знал, что от меня никуда не уйдут ни Сенатская площадь, ни сфинксы над Невой, ни Острова.

Но зато теперь мне открылась новая, еще незнакомая часть Питера, его рабочая окраина - Московская застава.

Огромные чугунные триумфальные ворота, построенные по проекту архитектора Василия Петровича Стасова, отца Владимира Васильевича, завершали собой Петербург дворцов, памятников, казарм, гранитных набережных и узорных решеток с золочеными копьями и львиными масками.

А за Московскими воротами и за железнодорожным Путиловым мостом уже начиналось широкое и пустынное шоссе, по сторонам которого тянулись ряды однообразных деревянных домов вперемежку с кирпичными, такими же однообразными, высились фабричные трубы, пыльно зеленели кусты сирени в палисадниках.

Здесь, неподалеку от Чесменской богадельни, окруженной старыми редкими деревьями, находился завод, где работал отец, и скромная квартира в переулке, куда незадолго перед тем переселилась наша семья.

Сейчас, когда я припоминаю первые годы моего пребывания в Петербурге, мне кажется, что жил я здесь не в одном, а в трех различных, таких несхожих между собою и почти не соприкасающихся мирах.

Один был тот, в который ввел меня седобородый великан - бурный, кипучий, но бесконечно заботливый Владимир Васильевич Стасов. О его щедрой доброте лучше не скажешь, чем говорит в своих воспоминаниях Шаляпин:

"Этот человек как бы обнял меня душою своей" {2}.

С первых дней моего приезда я проводил целые часы то у него дома, то в просторных залах Публичной библиотеки. Брал он меня с собою и к своим друзьям - композиторам, художникам, писателям.

Так, нежданно-негаданно, попал я в круг взрослых людей, у которых было достаточно свободы и досуга, чтобы подолгу, среди бела дня, с жаром толковать о какой-нибудь новой симфонии, опере, картине или книге. Эти известные и вполне уверенные в себе люди рассуждали об искусстве смело, серьезно и весело, как хозяева, как мастера, его создающие. Имена многих из них доходили до меня еще в Острогожске - задолго до моей встречи с ними. И теперь, прислушиваясь к их шумным спорам, я чувствовал себя так, будто раскрыл какую-то очень интересную книгу где-то на середине и по отдельным беглым намекам должен догадываться, что же было раньше, кто такие герои этой книги и чем они связаны между собой.

Каждый из них занимал такое большое место в жизни да и в моем представлении, что мне было даже как-то странно видеть их так близко перед собою в самых обыкновенных костюмах и ботинках, в самой обычной обстановке.

Неужели же этот невысокий, добродушный человек с маленькими, лукаво прищуренными глазами, с волнистой шевелюрой и подстриженной клинышком, слегка седеющей бородкой - и в самом деле Илья Ефимович Репин? Ведь если бы я встретил его на улице в этой же самой мягкой шляпе и в крылатке, мне бы и в голову не пришло, что передо мной знаменитый на всю Россию художник. Скорей уж он похож на служащего земской управы или на нашего острогожского библиотекаря.

А вот строгий, длиннобородый, остро и сосредоточенно поглядывающий на своих собеседников сквозь двойные стекла очков Римский-Корсаков. Волосы его щеткой стоят над высоким лбом, сюртук наглухо застегнут. Со мною он сдержанно учтив и приветлив, но я все-таки почему-то немножко побаиваюсь его, почти как директора нашей гимназии.

Гораздо проще держится большой, грузный, смущенно улыбающийся Глазунов. У него тяжелые плечи, короткая шея, а косой разлет бровей и небольшие, опущенные книзу усы придают лицу что-то монгольское.

Стасов за глаза любовно называет его "Глазун".

Почти у всех в стасовском кружке свои домашние, ласковые прозвища.

Я еще не знал музыки Мусоргского, а уже слышал так много о "Мусорянине" или "Мусиньке", что мне казалось, будто он сам только что побывал здесь, оставив в комнатах отголоски своего громкого смеха и тепло своих рук на клавишах рояля.)

В сущности говоря, квартира Стасова на Песках могла бы с полным правом называться по-нынешнему "Домом искусств" и прежде всего - музыки.

Здесь всегда были раскрыты настежь двери для старых и молодых мастеров - композиторов, певцов, пианистов. Отсюда они уходили с новыми силами, а подчас и с новыми замыслами.

Я был моложе большинства этих людей лет на двадцать, тридцать, сорок, а то и на шестьдесят с чем-то, но почти все они разговаривали со мною, как с младшим членом своей семьи, а не как с ребенком. От этого я как будто и в самом деле становился взрослее, свободнее, увереннее,

---

Но совсем другим казался я своим товарищам и самому себе за партой в казенных и строгих стенах гимназии, куда меня перевели по ходатайству Стасова.

Тут я был школьником, да еще и новичком среди тридцати мальчиков, которые уже несколько лет учились вместе, дружили, дрались и вели исподтишка бесконечные войны с учителями и надзирателями. Сойтись с ними поближе было не так-то легко. Наши острогожские ребята могли подставить новичку ножку, дать ему "кобца" или "загнуть салазки", но очень скоро привыкали к нему, как волчата к приблудному волчонку, и уже не отличали его от своих.

А петербургские мои соклассники изводили новичка еще похлеще, чем острогожцы, но и после всех испытаний далеко не сразу принимали в свою среду.

Эта столичная гимназия {3}, просуществовавшая уже более полувека и сохранившая после недавней реформы полный курс древних языков, считалась гимназией аристократической.

В Острогожске на весь наш класс был один только князек, да и тот захудалого кавказского рода. А здесь в мое время учились и графы Шереметевы, которые очень обижались, если их фамилию писали с мягким знаком после "т", и князь Вяземский, и сын адмирала Дубасова. Впрочем, были у нас ребята и не столь знатного происхождения - сыновья профессоров, инженеров, врачей, коммерсантов, но и они по большей части при встрече с новичками напускали на себя какую-то гвардейскую чопорность и надменность.

Может быть, мне было бы легче сблизиться со своими одноклассниками, если бы мое появление в гимназии прошло незамеченным. Но наш добрейший классный наставник Вячеслав Васильевич Щербатых, имевший обыкновение свободно и по-приятельски беседовать с классом о последних новостях, счел необходимым представить меня моим новым товарищам.

Толстый и всегда благодушно настроенный, он уселся на скрипящий под ним стул и начал урок примерно такими словами:

- А у нас, господа, приятная новость. К нам переведен из провинции юный поэт, подающий, как говорят, ба-а-альшие надежды. Прошу любить его и жаловать!

Этого было вполне довольно, чтобы я стал мишенью для нескольких самых заядлых гимназических остряков. Выражение "подающий большие надежды", почему-то показавшееся им очень забавным, повторялось несколько дней на все лады. Меня так и звали: "подающий большие надежды" или "приятная новость". К счастью, эти прозвища скоро забыли.

Гимназия, как и казарма, не терпит ничего нарушающего общий строй. А я выделялся из всего класса не только тем, что сочинял стихи, но и своим внешним видом. Гимназическая форма, которой когда-то при поступлении в острогожскую гимназию я так радовался, сильно отличалась от столичной. Да к тому же мой форменный костюм был далеко не первой молодости: блестящие пуговицы, которыми застегивался косой ворот моей серой блузы, давно пожелтели, кожаный пояс потрескался, а из брюк я уже порядком вырос.

В довершение всего я был в то время не по возрасту мал и худощав. (Только впоследствии, уже на границе юности, догнал я своих ровесников и ростом, и шириною плеч.) Среди новых моих соклассников, в большинстве своем бойких, плотных, хорошо упитанных мальчиков в черных брюках и в ладных черных куртках, туго стянутых в талии лакированными поясами, я чувствовал себя одиноким и беззащитным, как в те далекие дни, когда впервые встретился с буйными босоногими мальчишками в Острогожске на Майдане.

Еще больше отличался я от столичных гимназистов на улице или на школьном дворе. У них были голубовато-серые, почти офицерские шинели, а на фуражках красовались очень маленькие, изящные гербы из какого-то металла, похожего на матовое серебро.

Какой нескладной, будто дубовой, казалась мне теперь моя шинель грубого, шершаво-серого сукна! Каким нелепым и неуклюжим был огромный герб на моей помятой фуражке!

Правда, через некоторое время меня одели по форме, но в первые дни я выглядел рядом с моими щеголеватыми петербургскими товарищами каким-то очень невзрачным провинциалом.

А ведь всего только несколько недель тому назад - на платформе Острогожского вокзала и в грохочущем, уносящем меня на север поезде - я уже воображал себя настоящим, коренным петербуржцем.

Впрочем, этот великолепный город не казался мне чужим и теперь, когда по праздникам или после уроков я бродил по его прямым и широким проспектам или

сидел на гранитной скамье в полукруглом выступе ограды над Невой.

И только в гимназии я все еще оставался новичком - и для товарищей, и для всех учителей, начиная с молодого, только что выписанного из Парижа француза, весело поблескивающего стеклами пенсне, и кончая старым, желчным учителем греческого языка Цинзерлингом.

В Острогожске я несколько лет шел в классе первым, и даже самые придирчивые из учителей обращались со мной уважительно и учтиво, редко беспокоили меня вопросами и того реже вызывали отвечать урок. А здесь у меня еще не было сколько-нибудь установившейся репутации, и заработать ее мне было трудновато: из-за переезда я отстал от класса, да и учебники, за исключением одного-двух, были в петербургских гимназиях другие.

Первым учеником считался тут большой и очень толстый мальчик с круглой головой, гладко причесанной на косой пробор, - Ваня Передельский. Он был сыном какого-то выслужившегося чуть ли не из нижних чинов генерала.

Я слушал, как обстоятельно, плавно и красноречиво отвечает он на все вопросы учителей, и невольно думал о том, что Владимир Иванович Теплых, пожалуй, не одобрил бы ни его усердия, ни красноречия.

Вероятно, у него и в самом деле были все основания числиться первым учеником - незаурядные способности, отличная память, редкая усидчивость. Но учителя гимназии, пожалуй, больше ценили в нем другие качества: он казался таким положительным, степенным, воспитанным. Его легко можно было представить себе будущим прокурором или докладчиком в сенате, а может быть, профессором, выступающим с лекцией перед большой аудиторией. Для этого ему Даже не надо было меняться, - разве только дать установиться еще ломающемуся голосу,

Такой примерный ученик был как нельзя более под стать всей этой классической казенной гимназии, где среди учителей не было таких ископаемых, как Сапожник - Антонов, но зато нельзя было найти и молодых, пылких, только что со студенческой скамьи педагогов нового типа вроде Поповского.

Однако бывали здесь и по-настоящему образованные, заинтересованные в своем предмете учителя, оставившие по себе добрую память. Многие поколения гимназистов с благодарностью вспоминали латиниста Реймана. До сих пор я четко вижу перед собой чистенького, седенького старичка на кафедре, слышу его тихий, ровный голос, вспоминаю приветливый, внимательный взгляд из-под золотых очков. С незапамятных времен преподавал он в этой сугубо классической гимназии древние языки, не теряя терпения даже тогда, когда ученики варварски искажали эллинскую и латинскую речь. По душе нам был и географ Николай Федорович Арефьев, человек спокойный, умный и простой. Несмотря на свой форменный вицмундир, он не был чиновником и не сводил географию к перечню островов и полуостровов, заливов и проливов. На уроках он охотнее рассказывал сам, чем вызывал нас, а во время объяснений читал нам целые страницы из дневников экспедиций и записок путешественников. И уж совсем ничего казенного не было в Павле Григорьевиче Мижуеве. Автор книг о Новой Зеландии, сотрудник передовых толстых журналов, он почему-то преподавал у нас немецкий язык.

Однако же не эти учителя задавали в гимназии тон. Вместе с древними языками она сохранила в полной неприкосновенности свой сложившийся за полвека чинный порядок, от которого веяло холодом.

Нашего директора, строгого и суховатого Шебеко, дослужившегося до первого генеральского чина, мы редко видели во время уроков, а когда он появлялся в коридоре на одной из перемен, гимназические надзиратели мигом водворяли тишину в классах на всем пути его следования.

И все-таки, несмотря на дисциплину, которой славилась гимназия, ребята позволяли себе здесь иной раз такие проделки, какие и не снились самым отчаянным головорезам в Острогожске.

Чаще всего это бывало на уроках "грека" Роберта Августовича Цинзерлинга, с которым гимназисты вели ожесточенную войну в 'течение целых десятилетий. Он подозревал своих учеников во всех смертных грехах, а они, в свою очередь, всей душой ненавидели его геморроидально-поджарую фигуру, его узкую, длинную,

прямоугольную бороду, которую он то засовывал куда-то под воротник, то с трудом вытаскивал наружу. Невозможно сосчитать, сколько единиц и двоек наставил он на своем веку в классных журналах и сколько воды и лампадного масла было подмешано в его чернила.

В гимназии ходили легенды о тех бесконечных "розыгрышах", которые устраивали Цинзерлингу его щедрые на выдумки ученики. Рассказывали, будто однажды старшеклассники, сыновья состоятельных родителей в складчину заказали для Роберта Августовича в самом богатом бюро похоронных процессий пышный катафалк с вереницей траурных карет и целой армией факельщиков в черных ливреях и цилиндрах. У наших, острогожцев не хватило бы на такую затею ни денег, ни дерзости.

Говорят, что Цинзерлинг и в самом деле чуть не умер от ужаса и злости, когда увидел у себя под окнами черных лошадей, мерно покачивающих траурными султанами, а потом услышал из передней незнакомый торжественно-печальный голос, возвещающий о прибытии погребальной колесницы.

Шел месяц за месяцем, а я все еще не мог привыкнуть к повой гимназии. Каждое утро, подходя к ее дверям, я невольно сравнивал с ней свою прежнюю острогожскую. Та стояла в городе особняком, за белой каменной оградой. Окна ее с одной стороны выходили на просторный двор, с другой - противоположной смотрели в городской сад.

А здание нашей петербугской гимназии с виду ничем не отличалось от соседних, вплотную примыкающих к нему домов. Такой же фасад в несколько этажей, такой же сумрачный парадный подъезд с темно-коричневой дубовой дверью и с бородатым швейцаром в длинной ливрее. Правда, эта гимназия была несравненно лучше обставлена, ее библиотека, физический кабинет и гимнастический зал значительно богаче, ее паркетные полы блестели гораздо ярче, и завтракали мы здесь не в классах и не в коридоре, а в специальной столовой, где служители в форменных сюртуках неторопливо обходили длинные столы, накрытые скатертями, предлагая каждому из нас по очереди блюдо с кушаньем.

И все же мне было здесь как-то неуютно, - может быть, потому, что я попал в класс, где давно уже установились отношения и репутации, да при этом еще начал ходить на Занятия среди учебного года.

Казалось, будто на какой-то промежуточной станции я вскочил в поезд, где все уже успели удобно устроиться, перезнакомиться между собой и с неудовольствием встречают нового, нежданного пассажира.

Сильнее всего я чувствовал свою отчужденность, когда кончался школьный день и гимназисты наперегонки устремлялись к выходу.

Из ворот острогожской гимназии мы почти всегда высыпали целою гурьбой и долго провожали один другого до дому, перепрыгивая то через канаву, то через тумбу и болтая обо всем, что только взбредет на ум или попадется на глаза.

Особенно много провожатых бывало у меня, так как по дороге я обычно рассказывал товарищам какую-нибудь выдуманную тут же на ходу историю, которая у моих соклассников называлась "суматохой".

- А ну, Маршак, рассказывай дальше свою "суматоху"! - торопил меня самый постоянный из моих слушателей, добрый, мечтательный Костя Зуюс.

Такое название дали моим устным рассказам потому, что первая выдуманная мною история начиналась словами: "Суматоха страшная..."

Из подъезда петербургской гимназии я выходил один. Да и почти все мои товарищи по классу обычно расходились порознь. За одними присылали щегольскую коляску с важным, толстым кучером на козлах, другие нанимали на углу извозчика или шагали до ближайшей конки пешком.

Я добирался до родительского дома на двух конках. Одна везла меня по Литейному и Загородному, другая - по бесконечному Забалканскому через Обводный канал, мимо

двух огромных железных быков, стоявших перед городскими бойнями, мимо пустынного Горячего поля, на котором ночевали питерские золоторотцы.

Несколько оживленнее становилось наше путешествие перед Обводным каналом. Здесь в тяжелую двухэтажную конку на помощь клячам впрягали пару более резвых запасных лошадей. Эта процедура сопровождалась обыкновенно криком, свистом, звонким щелканьем кнута.

Дребезжа, громыхая и позванивая на ходу, конка добиралась наконец до Московских ворот. Тут лошадей выпрягали и переводили на противоположную сторону вагона, так что задняя его площадка, становилась передней. После этого конка пускалась в обратный путь, а я, потуже подтянув ремни ранца, шагал по высокой деревянной панели в три доски к Путилову мосту.

Здесь со всех сторон обступал меня тот третий мир, который открылся мне в Петербурге наряду с первыми двумя, гораздо более благоустроенными.

Эта питерская окраина, будничная и деловитая, чем-то напоминала те пригороды, предместья, слободки, в которых протекало мое провинциальное детство. Правда, дома здесь были чаще всего двухэтажные, а по сторонам дороги, вымощенной крупным, крутолобым булыжником, тянулись водосточные канавы с переброшенными через них мостками и дощатые панели.

Но тот же озабоченный, скудный, суровый быт чувствовался во всем. Здесь люди так же рано просыпались, так же много работали, так же пьяно гуляли по праздникам. И лавки, насквозь пропахшие селедкой, керосином, карамелью и огуречным рассолом, были почти такие же, как на Майдане.

Да и квартира, где поселилась наша семья, мало чем отличалась от всех прежних квартир, в которых мы жили в провинции. Вопреки надеждам и обещаниям отца, она была неприглядна и неуютна. Маленькие, тесные комнатки в первом этаже деревянного флигеля, затерянного в глубине густо заселенного двора; низкие окна, в которые может заглянуть любой прохожий; дощатые некрашеные полы... Зато у моих младших сестер и брата полон двор подруг и товарищей, с которыми можно играть с утра до вечера в колдуны, в золотые ворота или в пятнашки и прятаться в закоулках полуразрушенного дома, как мы со старшим братом прятались когда-то в развалинах заброшенного здания на острогожском дворе.

Я возвращался из гимназии уже под вечер. В столовой горела знакомая мне с давних лет висячая лампа под белым абажуром, отбрасывая на середину стола светлый круг. По кругу, как по поверхности воды, все время ходила легкая рябь от еле заметной дрожи заключенного в ламповом стекле, огонька.

В этой единственной освещенной комнате коротала вечер вся ваша семья. Примостившись у нагретой печки, шила, вязала или штопала мать, а младшие дети - две сестренки и меньшой брат - сидели у стола, каждый со своей книжкой. Кто читал про себя, кто шепотом, по все были одинаково захвачены чтением. Забавно и трогательно было смотреть со стороны, как эти маленькие читатели, из которых старшим было одиннадцать и девять лет, а младшему семь, подперев кулачками щеки, водят глазами по строчкам, ничего не замечая вокруг. Старшая сестра озабоченно хмурит лоб, другая плачет над своей книгой, а брат так и подпрыгивает на стуле и громко хохочет: он в первый раз читает "Приключения Макса и Морица" {4}.

Одного только отца нет дома. Он еще на заводе.

Завод, на котором служил теперь отец, был значительно больше прежних. Но и здесь люди работали чуть ли не с самого рассвета дотемна и все делалось вручную. На высокий деревянный помост, охватывавший со всех сторон огромный котел, рабочие вкатывали тяжело груженные тачки и носили ушаты со щелоком.

В котле бурлило, как море, обдавая людей острым, горячим дыханием, жидкое синее мыло. Сверху оно было похоже на пышное атласное, сшитое из лоскутьев разного оттенка одеяло. Когда мыло начинало вздуваться и брызгать едкой пеной, рабочие помешивали его длинными железными шестами, а мастер мой отец - то и дело брал деревянной лопаточкой пробу. Для этого ему приходилось подниматься по железной отвесной лесенке, которая вела с помоста к самому краю котла. Рыжее его пальто,

щеки, брови, усы, бородка клинышком, даже очки - все это было в белых налетах застывшего мыла. Сквозь густые мыльные пары трудно было при входе сразу различить людей на помосте.

Я смотрел на отца, берущего пробу, и с тревогой думал о том, как легко потерять равновесие на скользких от налипшего мыла ступеньках.

Гораздо легче дышалось и веселее шла работа в цеху рядом, где худощавый и усатый Василий Иванович Простов, бывший унтер-офицер лейб-гвардии полка, резал еще не вполне затвердевшее "мраморное" или "кокосовое" мыло тонкой проволокой, а его сподручные, оборванные, вихрастые подростки с Горячего поля, проворно, как заправские фокусники, заворачивали куски мыла в бумагу с печатью фирмы и складывали в ящики. Работали они сдельно и потому не теряли времени зря. Но стоило Василию Ивановичу отвернуться, как фунт мыла, а то и целый брусок мгновенно исчезал у кого-нибудь из них за пазухой. При выходе с завода их частенько обыскивали, но они только ухмылялись, когда из-под рубахи у них вытаскивали кусок разогретого и слегка размякшего мыла. Терять им было нечего: их выгоняли, а через несколько дней брали снова, если нужны были рабочие руки,

Я с любопытством разглядывал этих столичных жителей, бесшабашных, вороватых, грязных, голодных, битых, живущих на птичьих правах и никогда не унывающих. До приезда в Питер я таких не видывал. Завести с ними разговор мне никак не удавалось, - они только шмыгали носом, передергивали плечами да перемигивались между собой. Я пытался расспрашивать о них Василия Ивановича Простова, но он отделывался только короткими отрывистыми фразами:

- Да что тут говорить! Шатуны. Погиблый народ. Голо, босо, беспо_я_со!

И, однако же, он обращался с этими лукавыми, озорными оборванцами по-человечески. Делился с ними махоркой, давал им в долг без отдачи пятиалтынный или двугривенный, если они еще не успевали заработать на обед, хоть сам еле дотягивал до ближайшей получки. Впрочем, по крайней мере, половину своего заработка он пропивал. Пил главным образом по воскресеньям, а иной раз прихватывал и понедельник. В остальное же время был хмур, серьезен и работал аккуратно, как машина.

Каждое воскресенье, перед тем как выбить ладонью пробку из первой сороковки, он долго и тщательно чистил свои сапоги и праздничную черную "тройку", хоть никуда в этот день не собирался.

- И зачем только ты пьешь, Василий? - спрашивал я его.

- А что же еще холостому человеку в праздник делать?

- Ну почитал бы книжку, что ли. Ведь ты же грамотный!

- К чтению, милый человек, привычка нужна, а я только мыло резать привычен. Во сне и то режу.

- А хочешь, я тебе что-нибудь почитаю? - предлагал я и, усевшись на ящик от мыла, принимался читать ему вслух "Севастопольские рассказы" Толстого. - Да ты слушай! Это тебе, как военному человеку, интересно будет!

Страницу-другую он еще выдерживал, а потом его черная с проседью, коротко остриженная голова начинала опускаться все ниже и ниже,

Я обиженно умолкал, а он, встрепенувшись, будто его застали спящим на посту, смущенно оправдывался:

- Прошу прощения! Да только не в коня корм. Говорил же я тебе, что не приучен книжки читать, а приучаться уже поздно.

Почти так же отвечал он, когда кто-нибудь спрашивал, почему он не женится.

- Опоздал малость. Для семейной жизни, братец, время нужно иметь. Ну и средства тоже!

Мне почему-то очень нравился этот одинокий, суровый, всегда подтянутый человек,

даже в нетрезвом виде не теряющий степенного достоинства.

Зря он слов не тратил, и только его слегка насмешливые черные глаза из-под нахмуренных бровей, гвардейские усы да глубокие, резкие складки вдоль щек говорили о пережитых им годах военной службы и о десятке лет фабричного труда, оставлявшего так мало досуга, что его и девать было некуда.

Это был первый питерский рабочий, с которым мне довелось познакомиться за Московской заставой. Завод этот был довольно захудалый, и его немногочисленные рабочие стояли в стороне от кружков, которых было уже тогда немало на крупных заводах Питера.

НОВЫЕ ТОВАРИЩИ

Не всегда по окончании уроков я сразу же возвращался домой за Московскую заставу.

Когда погода казалась подходящей, - а она часто казалась мне подходящей, потому что я любил и ветер с Невы, и летящие вдоль аллей Летнего сада осенние листья, и легкие звездочки сухого снега, и крупные хлопья влажного, - я отправлялся бродить по городу.

Стоя перед памятником Петра или у сфинксов, спокойно лежащих друг против друга над каменными, полого спускающимися к реке ступенями, я старался одним взглядом охватить бегущие по небу рваные облака, ширь Невы и строгие линии гранитных набережных. И мне казалось, что я уже не школьник, не подросток, только что вырвавшийся из тесно уставленного одинаковыми партами класса, а и в самом деле поэт, на чью долю выпало счастье видеть перед собою величавые дороги, по которым шла и до сих пор идет история.

Вскоре для моих прогулок нашелся спутник. Как-то незаметно у меня завязалась молчаливая дружба с одним из моих соклассников, сыном художника, Баулиным. Белокурый и очень бледный, словно вылепленный из воска, Баулин был неутомимым пешеходом и отлично знал город. Скоро, безо всякой просьбы с моей стороны, он стал для меня неизменным и незаменимым проводником по питерским улицам, закоулкам, мостам и набережным каналов.

Это он впервые показал мне Новую Голландию с великолепными, огромными воротами, через которые мог пройти по водной дороге многопарусный корабль.

Он научил меня видеть деловитую прелесть петровской архитектуры и в маленьком двухэтажном дворце, примостившемся в углу Летнего сада между Фонтанкой и Невой, и в двенадцати звеньях университета, напоминающих о том, что это здание было когда-то построено для "двенадцати коллегий".

Вдвоем мы прошли с ним немало верст по Петербургу. Как бы ни был занят мой новый товарищ - рисовал ли он или читал какую-нибудь книгу по искусству, - он никогда не отказывался отправиться со мною пешком в Гавань или на Острова.

Подчас мне было трудно угнаться за ним. Легкий, не знающий устали, несмотря на свою кажущуюся хрупкость, он с малых лет привык шагать по бесконечным проспектам этого широко раскинувшегося города, а мне еще так недавно расстояние от Острогожска до нашего пригородного Майдана или до железнодорожной станции казалось непомерно большим.

Изредка бывал я у Баулина дома. Это был необычный дом. В маленьких светлых комнатах уютно и спокойно разместились на стенах картины, гравюры, лубки, старинные иконы. В невысоких шкафах стояли за стеклом фарфоровые и костяные фигурки - танцовщицы, пастушки, солдаты в киверах, китайские уличные торговцы со своими корзинами и жаровнями. А у противоположной стены на дубовых полках громоздились большие, тяжелые книги.

Мы снимали с полки один том за другим и, усевшись в углу дивана, принимались осторожно перелистывать огромные страницы, рассматривая собрания русских, итальянских, французских, испанских картин. Многие из них мы уже видели в Эрмитаже, или в Русском музее, - тогда он назывался Музеем Александра III, - и узнавать их было особенно интересно.

В этом путешествии по книгам и альбомам Баулин тоже, был моим проводником, как и в странствованиях по городу. Он знал чуть ли не каждую страницу и, не пускаясь в долгие объяснения, обращал мое внимание на самое характерное для каждого художника и его времени.

Казалось, во всем доме мы одни. Но вот кто-то тихонько стучится к нам в дверь и, слегка приоткрыв ее, протягивает Баулину поднос с двумя стаканами чая и мягкими, еще теплыми, напудренными белой мукой калачами. Значит, взрослые дома, но только не хотят стеснять нас.

Я чувствовал себя здесь спокойно и свободно, и каждый раз мне было жалко расставаться с Баулиным, с его картинами, книгами и причудливыми фигурками в прозрачном шкафу.

Этот первый мой петербургский товарищ и тихая, строгая обстановка квартиры, где он жил, навсегда неразрывно связаны в моей памяти с городом, который я в те дни по-настоящему узнал и полюбил.

Полной противоположностью дому Баулиных был другой дом, не менее для меня привлекательный, куда я попал совершенно случайно.

Как-то на империале конки, который шутливо называли в те времена "верхотурой", моим соседом оказался рослый и худощавый гимназист. Слово за слово, мы разговорились. Он был уже в последнем классе и всеми своими повадками напоминал прежних моих приятелей - острогожских старшеклассников. Держался он так же серьезно и просто и, несмотря на свою гимназическую фуражку, производил впечатление вполне взрослого, положительного, думающего человека, хоть ни в малейшей степени не пытался казаться старше своих лет, как многие из моих теперешних товарищей по классу.

За полчаса нашего путешествия на "верхотуре" мы успели не только познакомиться, но даже и подружиться. Под Звон, грохот и дребезжанье конки он рассказал мне, что больше всего на свете интересуется ботаникой и уже твердо решил пойти на естественный факультет университета, а я, еще не решаясь признаться, что пишу стихи, сказал ему о своем пристрастии к поэзии.

В этой области он был не слишком сведущ и, кроме Пушкина и Лермонтова, знал, кажется, одного только Некрасова.

На прощанье мой новый приятель Володя Алчевский посоветовал мне непременно прочесть замечательную книгу Тимирязева "Жизнь растения", дал свой адрес и, уже спускаясь по крутой железной лесенке, крикнул мне наверх:

- Обязательно приходите!

В первое же воскресенье я отправился к нему в гости, на Выборгскую сторону, в один из корпусов Военно-медицинской академии.

Среди многочисленных флигелей, в которых помещались клиники и лаборатории, я с трудом отыскал квартиру Алчевских и уже из передней услышал громкие молодые голоса и смех.

- У вас гости? - смущенно спросил я у моего приятеля, отворившего мне дверь.

- Да нет, все свои, - успокоительно ответил Володя. - А что, шумно очень? Это у нас всегда так. Находите, не стесняйтесь!

Я переступил порог и очутился в большой, низкой комнате со старинными окнами в глубоких проемах. На столе кипел самовар, а за столом сидела целая компания молодых людей, на первый взгляд очень похожих друг на друга. Чай разливала пожилая женщина, сидевшая в кресле на колесах, а напротив нее читал газету сухощавый, сутуловатый, почти седой человек в старенькой военной тужурке без погон.

С первой же минуты меня встретили здесь, как доброго, старого знакомого. Навстречу мне, одна за другой, протянулось из-за стола несколько сильных,

твердых, крупных рук.

Мой приятель Володя был в этой семье самым младшим. Все его братья были уже студентами: один - медик последнего курса с двумя косыми серебряными полосами на погонах, двое универсантов в серых куртках с темно-синими петлицами и двумя рядами золоченых пуговиц, четвертый - "лесник" с блестящими вензелями на темно-зеленых бархатных погончиках.

Никогда в жизни я еще не видел за одним столом так много студентов. И даже их родители держались как-то по-студенчески, очевидно, сохраняя привычки той поры, когда отец был таким же студентом-медиком, как его старший сын, а мать, прикованная теперь болезнью к своему глубокому креслу, бегала на курсы, стриженая, в накинутом на плечи клетчатом пледе.

В этот день вся семья была в сборе.

За столом сидели долго, курили, шутили, спорили о политике, о статьях в последнем номере научного журнала, В спорах на равных со всеми правах участвовал и Володя. Но, пожалуй, самым горячим спорщиком был здесь отец, ничуть не обижавшийся, если его на полуслове перебивали сыновья.

Только впоследствии я узнал, что этот седоватый человек - один из самых популярных в студенческой среде преподавателей, любимец молодежи, ее неизменный друг и защитник.

Говорили, что в молодости он был так похож всем своим внешним обликом на Виссариона Белинского, что даже позировал художнику для известной картины, изображающей больного Белинского в минуту, когда за порогом его комнаты появляется усатый жандарм {5}.

С того времени, как была написана эта картина, отец моего приятеля успел порядком измениться. Но и сейчас еще, если только он бывал чем-нибудь задет за живое, тронут или возмущен, в его впалых щеках и утомленных, будто через силу поднятых веках можно было уловить это почти утерянное сходство.

После первого знакомства я не раз бывал в доме у Алчевских. Приходил я не только к Володе, а именно "в дом", потому что меня с одинаковым радушием встречали здесь и отец, и мать, и братья-студенты, такие решительные и резкие в своих суждениях, но, в сущности, очень простые и славные парни. Студенты просвещали меня, каждый по своей специальности. Но, кроме того, я узнал здесь, что слово литература означает иногда нелегальные издания, и впервые услышал о существовании газеты "Искра", издающейся за границей.

"КНИГОХРАНИЛИЩА, КУМИРЫ И КАРТИНЫ"

Пожалуй, эти годы на рубеже отрочества и юности - девятьсот второй, третий, четвертый - были одними из самых счастливых лет начала моей жизни.

Петербург, который я на первых порах увидел как бы "с черного хода" - с грязного, мрачного, оглушительно-шумного третьего двора на Забалканском проспекте, - повернулся ко мне парадной своей стороной,

Я учился в гимназии, которая считалась одной из лучших в городе, а в свободное время передо мной были широко открыты двери великолепного книгохранилища, где изо дня в день шла неторопливая, сосредоточенная работа над сухо шелестящими страницами рукописей и тяжелыми фолиантами в темной коже, по где был и такой уголок, куда, прерывая на час-другой размеренное течение обычных занятий, бурно вторгался сегодняшний день со своими толками, шутками, спорами, новостями и находками. В сущности, это было тоже работой может быть, не менее важной, чем изучение рукописей, гравюр и толстых фолиантов.

У большого письменного стола в узкой комнате, образуемой высокими шкафами и стендами, шел оживленный разговор о вчерашнем концерте Гофмана, о гастролях московских "художников" (так называли тогда в Петербурге молодой Художественный театр), о русском многоголосом пении, о вологодских кружевах или о последних лихих статейках нововременских критиков Иванова и Буренина, которым обязательно нужно дать немедленный и решительный отпор.

Кого только не видел я на этой стасовской дозорной вышке! Вот неторопливо, но бодро входит старичок генерал: в полной форме с аксельбантами. Золотые очки и довольно длинная, аккуратно подстриженная борода с густой проседью придают ему ученый, профессорский вид. Глядя на его темно-зеленый сюртук с блестящими широкими погонами, я пытаюсь угадать, что привело этого генерала в художественный отдел библиотеки.

- А я опять к вам нынче с просьбой, Владимир Васильевич, - говорит генерал.

- Цезарь не просит, а повелевает, - с веселой готовностью отзывается Стасов, и я сразу же догадываюсь, что старичок в аксельбантах - это композитор и музыкальный критик Цезарь Антонович Кюи из той "Могучей кучки", о которой мне так много рассказывал Владимир Васильевич.

Не помню, о чем он просит Стасова. То ли ему нужны какие-то материалы для новой оперы, то ли редкостная книга по искусству, но не успевает он проститься с хозяином этого книжного заповедника, как уже на смену ему, легко ступая и шелково шурша на ходу, является дама в душистых мехах и в большой шляпе с пышными, кудрявыми перьями. Известная пианистка, она сама привезла Владимиру Васильевичу билеты на свой концерт, а так как я оказываюсь тут же, то и мне достается билет, - да еще с такой блистательной, ласковой улыбкой в придачу.

Точно в театре, мне любопытно смотреть, как эта нарядная женщина, не переставая болтать, стягивает с руки тесную перчатку, как усаживается в кресло, заботливо и ловко расправляя вокруг себя складки платья, а Владимир Васильевич шутливо и почтительно склоняет перед ней свою крупную седую голову и целует ей обе руки по очереди. А руки у нее большие, сильные, с длинными крепкими пальцами и коротко остриженными ногтями. И я уже заранее представляю себе, как эти руки взлетят над клавишами, ударят по ним и побегут, то встречаясь, то расходясь и заполняя все вокруг певучим и гулким рокотом.

Другая дама, которая приходит вслед за первой, - ничуть не похожа на нее. Это издательница женского журнала и поборница женского равноправия. Поэтому на ней скромная шляпа лодочкой, крахмальный воротничок с галстучком и платье, слегка напоминающее покроем мужской костюм. Это не мешает ей задорно и кокетливо смеяться, оживляя деловой разговор приправой из самых свежих новостей.

Ее беседу с Владимиром Васильевичем прерывает какой-то почтенный библиограф, весь заросший густым сивым волосом - бровями, усами, бородой. Лица его почти не разглядишь сквозь дебри этой буйной растительности. Она даже мешает ему говорить, и Владимир Васильевич внимательно и напряженно слушает его, приставив ладонь к ушной раковине.

Мне давно пора уходить, но так интересно видеть эту смену разнообразных, новых для меня людей, что я никак не решаюсь покинуть удивительную комнату, которая, словно магнит, притягивает к себе археологов, музыкантов, художников, литераторов.

А какой неожиданный мир открылся для меня в огромном, великолепном здании Академии художеств на Васильевском острове!

Несколько раз, со своей обычной щедростью и готовностью подарить другим все, что дорого ему самому, приводил меня сюда Владимир Васильевич - сначала в библиотеку, где хранились акварели, рисунки и офорты замечательных русских мастеров, а потом и в мастерские своих друзей-художников.

Вскоре я и здесь почувствовал себя так же свободно, как в Публичной библиотеке. Я приходил сюда обычно не со стороны Невы, не с главного подъезда, над которым возвышались колонны и статуи, а через боковую дверь с Четвертой линии. В сумрачном, высоком коридоре было прохладно и пахло пылью. По сторонам стояли огромные гипсовые статуи античных богов и богинь. Сгибы мощных рук, складки туник, крутые завитки кудрей и бород были словно обведены серо-коричневой тенью давно скопившейся пыли. От пыльного налета у богов и богинь потемнели носы и округлые выступы мускулов.

Так неожиданно и странно было попадать из этого мрачного и холодного коридора

прямо в мастерские художников. Сколько света и цвета бросалось в глаза, едва только вы переступали их порог. Я был еще подростком и, в сущности, очень мало понимал, что представляли собой живописцы или скульпторы, работавшие в этих мастерских. Но уж одно то, что из-под рук у них выходили картины или статуи, поражало меня свыше всякой меры. Мне так нравился запах свежей масляной краски, так интересно было следить по Эскизам, как ищет и находит художник то или иное положение руки, поворот головы, выражение лица. А какой таинственной и даже страшноватой казалась мне обмотанная мокрыми тряпками глиняная фигура в мастерской скульптора! С жадным и тревожным любопытством смотрел я, как постепенно освобождается она от тяжелых влажных пелен, и вот уже перед глазами у меня встает небольшая, стройная фигура, в которой тем не менее угадывается огромный рост и повелительная сила человека в Преображенской треуголке и с тростью в руке. По страстной напряженности круглых, почти выступивших из орбит глаз, по сжатым губам и туго обтянутым скулам я сразу узнаю Петра. И так странно, что мягкая, зеленоватая глина, пористая и сырая, приняла этот строгий, величавый образ.

А рядом с мастерскими у художников обычно были свои маленькие приемные. После яркого света мастерской, ее суровой наготы и деловитости эти маленькие комнатки казались такими жилыми и уютными. Тут стояли на столе цветы, на полу был разостлан ковер, на кресле валялась гитара. Сюда приходили друзья художника, острили, спорили, рисовали карикатуры.

Эта просторная, всегда приподнятая жизнь, где не было границ между истовым, страстным трудом и досугом, полным мысли, юмора, изобретательной выдумки, казалась мне необыкновенно счастливой.

Запомнилась мне еще одна мастерская - уже не в здании Академии художеств, а в сосновом финском лесу. В яркий зимний день мы поехали с Владимиром Васильевичем к Репину. Маленькая рыжая лошадка со светлым хвостом и такой же гривой так бойко бежала по накатанной дороге среди высоких сосен, будто она вовсе и не лошадь, запряженная в санки, а какая-то вольная лесная зверушка, которая бежит по своему делу и по своей охоте, радуясь солнцу и морозцу.

Странная вещь - память. Я не помню, какие гости были у Репина в тот день, о чем шли разговоры, но запомнил нашу поездку так, словно это было вчера. До сих пор вижу со всей яркостью игру сине-золотого зимнего света на стеклянных выступах - верандах, балконах, вышках - репинской дачи. Вижу, как заглядывают со всех сторон в окна его мастерской деревья и кусты, отягощенные хрупким, пышным грузом свежего снега, сверкающего искрами на солнце и голубого в тени.

Все здесь какое-то необычное. Я еще никогда не видел такого дома со множеством пристроек, внутренних лестниц, открытых и закрытых балконов, никогда не видел такого сада, где причудливые беседки разбросаны среди рослых, строгих сосен и заснеженных древних валунов.

Да и сам Репин здесь совсем не тот, что в городе. Он праздничный, благодушный, тихий. На нем финская меховая шапка-ушанка, теплая куртка, поверх которой наброшен плащ, пестрые узорные рукавицы. Кажется, будто он всю жизнь провел среди этих сугробов, камней, сосен и знает язык зверей, валунов и деревьев.

Так хорошо, вволю набродившись по морозному лесу, стряхнуть у порога снег и войти в уютное тепло этого причудливого деревянного дома, а потом, примостившись в углу мастерской, смотреть, как тонкая, легкая рука Репина набрасывает на лист картона знакомые черты Владимира Васильевича, белого и величавого, как зима за окном.

За работой Репин рассказывает Стасову что-то смешное - насколько мне помнится, про какого-то своего ученика, которому он с великим трудом достал билет на концерт Шаляпина.

- И что же вы думаете? Парень ровно ничего не слышал, потому что весь вечер был занят очень важным делом: рисовал затылки сидящей впереди публики. Ну кому нужны эти затылки и как можно было променять Шаляпина на чьи-то лысины, которые так легко увидеть в изобилии на любом концерте несравненно менее талантливого артиста. А ведь он еще думал, что я похвалю его за такое усердие!

Мы приехали к Репину в среду - в единственный день недели, когда он принимал

гостей и позволял себе отдохнуть от работы.

Но вот ему подают - не помню уже что - письмо или телеграмму из города. Один из его почитателей, которому какие-то обстоятельства помешали побывать в Куоккала в этот день, просит позволения приехать завтра.

Я не узнаю нашего радушного и тихого хозяина. Он весь багровеет - даже уши и шея у него залиты густой краской.

- Да что же это такое? Уж если он сам бездельник, так, верно, думает, что и другим делать нечего. Нет, благодарю покорно! Не успел в эту среду, милости просим в следующую!..

И, отведя душу, он сразу успокаивается и опять становится таким же, как был, - добродушным, спокойным, чуть задумчивым, чуть лукавым.

Публичная библиотека, Академия художеств, театральные и концертные залы, какие до приезда в Питер мне даже и во сне не снились, - все это так захватывало меня, что поздно вечером от избытка впечатлений мне трудно было уснуть.

Подумать только! После незатейливых любительских спектаклей в острогожском городском театре, куда я так редко проникал, с трудом раздобыв полтинник и рискуя попасться на глаза гимназическому начальству, мне словно по волшебству - открылся доступ в самые знаменитые петербургские театры, где играли Варламов, Давыдов, Савина, Комиссаржевская. Я сидел здесь не на галерке, а в партере и чувствовал себя полноправным зрителем в ртом нарядном бархатном, блещущем позолотой и хрусталем зале, который то погружался в мягкий полумрак, когда начиналось действие, то вновь озарялся сотнями огней во время антрактов.

Но, пожалуй, всего этого было чересчур много для подростка, попавшего в столицу из тихого уездного города. Жадно, без оглядки отдавался я всем разнообразным впечатлениям, можно сказать, захлебывался ими и не понимал, почему так озабоченно хмурится отец, когда я рассказываю ему о том, где побывал и кого видел.

Почему-то его, человека таких широких интересов, теперь больше всего занимало одно: успел ли я догнать свой класс. Он чувствовал, что гимназия заслонена от меня другими впечатлениями, несравненно более сильными, и это не на шутку тревожило его.

По старой памяти он ожидал, что я, как и в Острогожске, стану рассказывать ему самым подробным образом обо всех учителях, товарищах по классу, о своих школьных успехах и неудачах, и его гораздо больше радовала пятерка у меня в табеле, чем известие о том, что Глазунов и Лядов написали музыку на мои слова.

Мне было жаль огорчать отца, но гимназия и в самом деле как бы отступила для меня на второй план.

Со своими одноклассниками я встречался главным образом на уроках, а все самое увлекательное, праздничное ожидало меня за стенами класса.

Да и преподаватели в этой новой гимназии уже не могли всецело завладеть моими мыслями и чувствами, хотя в большинстве своем они были гораздо более знающими и умелыми людьми, чем острогожские учителя. Но там во всем городе не было для меня никого умнее, чем Владимир Иванович Теплых или Поповский. А здесь даже самые лучшие из педагогов уступали в талантливости и широте моим новым взрослым друзьям.

Какой гимназический учитель мог бы разговаривать со мною по поводу былин или "Слова о полку Игореве" так, как Владимир Васильевич Стасов, который был одним из лучших знатоков русского эпоса и дал Бородину тему и материал для оперы "Князь Игорь"? И разве узнал бы я в гимназии о русском театре столько, сколько мог рассказать мне актер Модест Иванович Писарев, современник и друг Островского?

Каждый день приносил мне что-нибудь новое, и всему этому новому надо было найти

место, связать, соразмерить с тем немногим, что я знал раньше. Я стал уставать. А так как еще из Острогожска я вывез последствия малярии малокровие и какое-то сердечное недомогание, давно уже тревожившее моих родителей, - то теперь, в пору особенно интенсивной, полной душевного напряжения жизни, - да еще на переломе между отрочеством и юностью, - я стал хворать не на шутку.

С беспокойством поглядывая на меня, Стасов хмурился, качал головой и говорил:

- Надо тебя отправить куда-нибудь в теплые края - только вот куда бы?

Вскоре этот вопрос решился сам собою, да так неожиданно и чудесно, как я и представить себе не мог.

ИЗ ОТРОЧЕСТВА В ЮНОСТЬ

Это случилось в конце лета, в теплый августовский день 1904 года на даче у Владимира Васильевича.

Из года в год - более двадцати лет подряд - проводил он летние месяцы в деревне Старожиловке, близ Парголова, Там он снимал всегда одну и ту же дачу у местных жителей Безруковых. Просторный бревенчатый дом в два этажа, со стеклянной верандой в каждом, был всегда открыт для друзей. Сколько бывало здесь импровизированных концертов, литературных чтений, семейных праздников со всякими затеями - с гирляндами флажков, цветными фонариками и прочей милой, причудливой бутафорией! Все дачники и зимогоры Старожиловки с любопытством следили за тем, что делается на этой необыкновенной даче. Бывало, во время стасовских домашних концертов множество людей собирается за оградой, прислушиваясь к звукам, вылетающим из открытых окон.

В тот день ждали гостей, которыми особенно дорожил Владимир Васильевич. К их приему готовились весело, затейливо и старательно, "не без страхов, испугов и опасений: а вдруг не приедут!" - как говорил Стасов.

Все домашние принимали деятельное участие в этих приготовлениях, которые уже и сами по себе были праздником.

Среди прочих затей Владимир Васильевич надумал поднести гостям шуточный и вместе с тем торжественный адрес. На большом листе картона скульптор Гинцбург нарисовал пером дачу Стасова, а под рисунком было оставлено место для текста. Написать приветствие поручили мне - и притом в самый короткий срок, потому что до прибытия гостей надо было еще переписать текст и украсить его узорными, золотыми и алыми заглавными буквами.

Не слишком задумываясь, я живо сочинил нечто вроде величания в старинном стиле под названием "Трем богатырям". По былинному обычаю, первое место занимал у меня Илья - только не Муромец, а Репин. За ним следовали новые, не былинные имена: Максим Горький и Федор Великий - Шаляпин.

Считая, что дело мое сделано, я с чувством облегчения съехал по перилам крыльца и побежал по песчаным дорожам сада, пересеченным узловатыми корнями сосен, радуясь нежаркому августовскому солнцу и мягкому ветру, пропитанному запахом смолы и вереска. Как вдруг меня снова позвали в дом - на нижнюю веранду - и опять усадили за работу. Оказалось, что в тексте у меня пропущен еще один почетный гость - Глазунов. Как же быть? Ведь теперь уже нет времени переписать все заново. Но тут на помощь мне подоспел Владимир Васильевич. Он ободрил меня или, как сам он выражался, "анкуражировал", и посоветовал прибавить к заголовку всего одно слово, а к тексту одну строфу.

И заглавие получилось даже занятнее, чем было: "Трем богатырям со четвертыим", - а самое величание завершалось теперь строчками, относящимися к Глазунову:

Это брат меньшой, богатырь большой

Александр-свет Константинович!

Ничего удивительного не было в том, что я забыл упомянуть в своем приветствии одного из самых именитых гостей. Больше всего ждал я в этот день встречи с Горьким, Репина я уже встречал, и не один раз. Да и Шаляпина мне довелось видеть

- правда, только издали и в том обособленном, торжественном мире, каким представлялись мне театральные подмостки.

А вот Горький бывал в Петербурге редко, и у Стасова его ждали впервые. Но имя это значило для меня больше, чем имена других гостей, которые были старше Горького и возрастом и славой. Да и слава у него была какая-то особенная. Не только то, что он писал, но и самая фигура его привлекала всеобщее любопытство, горячее восхищение или такую же страстную ненависть.

Даже Владимир Васильевич Стасов, всегда отзывчивый на все сильное и самобытное, далеко не сразу признал его. На первых порах он отзывался о Горьком сдержанно, слегка недоверчиво. И не удивительно: это были люди различных Эпох. Старик Стасов - младший современник Гоголя и Глинки, человек, который был на четыре года старше Толстого, на шесть лет моложе Тургенева и на двенадцать Герцена, - должен был проделать большую и сложную работу, чтобы оценить стиль и направление Горького. Он прошел этот путь и вскоре стал самым усердным читателем, а потом и почитателем горьковской прозы.

Читая томики в зеленоватых обложках, он как будто молодел. Угощал отрывками из Горького всех приходивших к нему знакомых и незнакомых людей и говорил радостно:

- Какая силища! Какой талант оригинальнейший! Да ведь это порт и мыслитель первостатейный - под стать Байрону и Виктору Гюго.

Я слушал Владимира Васильевича и радовался, что в споре о Горьком он заодно с молодежью. А молодежи Горький казался самым современным из всех современных писателей. Его голос был для моего поколения голосом времени - и не только настоящего, но и будущего.

И вот этот человек, о котором мы столько думали и спорили, сейчас запросто войдет сюда, поднимется по этим ступенькам и будет разговаривать, шутить, слушать музыку вместе со всеми нами. И может быть, мне удастся разглядеть в нем нечто такое, чего я еще не уловил ни в его книжках, ни в толках и пересудах о нем.

Они приехали втроем - Репин, Шаляпин и Горький. У ворот стасовской дачи затарахтели колеса финских таратаек, скрипнула калитка, и в сад вошли, весело разговаривая, не три богатыря, а три самых обыкновенных и в то же время таких необыкновенных человека.

Шутейный церемониал встречи был выполнен во всех подробностях. Шумно играли туш, если не ошибаюсь, на двух роялях. Поднесли адрес. Читать приветствие пришлось автору - самому младшему из гостей, подростку в гимназической куртке с блестящими пуговицами и резными буквами на пряжке пояса.

Меня хвалили, пожимали мне руку, обнимали. Только Горький не сказал ни слова. Да он и вообще-то был не слишком словоохотлив на первых порах и медленно вступал в общую беседу.

Я смотрел на всех троих, не спуская глаз. Репин и Шаляпин выглядели нарядно, особенно Шаляпин. Казалось, скуповатое осеннее солнце освещает его щедрее, чем всех. Так светлы были его легкие, словно приподнятые ветром волосы, его открытое, веселое, смелое лицо с широко вырезанными, как будто глубоко дышащими ноздрями и победительным взглядом прозрачных глаз. И одет он был в светлое - под стать солнечному дню. Летний костюм ловко и ладно сидел на этом красивом человеке, таком большом и статном.

Ни тени нарядности не было в облике Горького. Одет он был так, как одевается какой-нибудь железнодорожный мастер или строительный десятник. Наглухо закрытая темная куртка со стоячим воротником, брюки, вправленные в голенища мягких русских сапог. Но во всей его фигуре, сухощавой и стройной, несмотря на легкую сутуловатость, в небольшой, хорошо посаженной голове с крутым крылом падающих на висок каштановых волос, в пристальном взгляде серо-синих глаз, опушенных длинными ресницами, чувствовалась та подобранность, та целеустремленная и сдержанная сила, что придает каждому движению человека значительность, достоинство и даже изящество. Он ничуть не проигрывал рядом с великолепным

Шаляпиным, а Репин даже в своем праздничном светло-сером костюме казался возле него не то немножко будничным, не то чуть-чуть простоватым.

Как это часто бывало в стасовском доме, весь вечер был заполнен пением, музыкой, "каляканьем велиим" - по шутливому выражению Владимира Васильевича. И все время я невольно посматривал в сторону Горького, прислушивался к его глуховатому, окающему говору, примечал его особенную усмешку, подчас такую озорную и задорную, словно он затеял какую-то забавную мальчишескую каверзу.

Это был совсем не тот человек, какого мы знали по открыткам. Я предполагал увидеть мечтательно-хмурого, длинноволосого юношу в косоворотке, а предо мною был зрелый, уверенный в себе человек. Все в нем было для меня неожиданно: и огромный рост, и этот глухой бас, и спокойная деловитость, с которой он говорил о современной литературе, о петербургских журналах, о новом издательстве, где он был руководителем {6}.

Всякий раз, когда мне случалось гостить на даче в Старожиловке, дело не обходилось без чего-нибудь нового, занятного. Но такого удачного дня, как этот, на моей памяти еще не случалось. Владимир Васильевич был оживлен и приветлив, как никогда, и, должно быть, именно от этого все чувствовали себя удивительно свободно и легко.

Тяжеловесный и очень серьезный на вид Глазунов без тени улыбки рассказывал за обедом невероятную историю о том, как на улице какой-то пьяный принял его однажды за конку и даже пытался вскарабкаться на империал.

Скульптор Гинцбург, маленький, сухонький и необыкновенно подвижной человек, показывал в лицах местечкового портного за работой, извозчика-балагулу, дремлющего с вожжами в руках, спор двух старух соседок из-за яйца, которое курица снесла на чужом дворе. Помнится, для этой сцепы ему понадобился платок, чтобы скрыть бородку и лысину, удлинявшую его и без того высокий лоб.

Весь этот спектакль он разыгрывал с таким юмором, мастерством, с такой тонкой наблюдательностью, что в памяти у зрителя оставался каждый жест его маленьких рук, каждое движение бровей и приспущенных век. Недаром, по рассказам очевидцев, Лев Толстой, глядя на него, хохотал до слез и невольно вторил ему, то собирая морщины на лбу, то шевеля губами.

А потом пел Шаляпин. Пел щедро, много, выбирая то, что особенно любил Владимир Васильевич. Тут были такие разные вещи, как величавая, по-военному строгая и в то же время таинственная баллада "В двенадцать часов по ночам...", и разухабисто-отчаянный, зловещий "Трепак" Мусоргского, а вслед за ним рубленая скороговорка "Семинариста", повторяющего без смысла и толку латинские исключения - те самые, что и мне приходилось заучивать наизусть в гимназии:

Panis, piscis, crinis, finis,

Ignis, lapis, pulvis, cinis... {*}

{* Хлеб, рыба, волос, конец,

Огонь, камень, пыль, пепел... (лат.)}

Эта зубрежка постепенно переходила в простодушную, горькую и вместе с тем комическую жалобу великовозрастного бурсака, сетующего на свое незадачливое житье-бытье:

Вот так задал поп мне таску

За загривок да по шее!..

И это пел тот же самый голос, в котором еще так недавно звенела колокольная медь, которому повиновалась могучая, мерная поступь призрачных войск, голос, в котором только что слышалось беснованье вьюги, ее колдовская песня, заставляющая убогого, пьяного мужичонку плясать до упаду, а потом убаюкивающая его навсегда.

Может быть, именно в этот вечер я впервые ощутил не только силу музыки, но и великую власть слова, когда оно понято до конца и стоит на своем месте,

поддержанное всей широтой дыхания, всей мощью ритма, всей глубиной образа.

Мудрено ли, что у меня чуть не перехватило дух, когда после шаляпинского пения и музыки Глазунова Владимир Васильевич вдруг предложил мне прочесть мои стихи.

И все-таки я их прочел. Не помню, что именно, - ведь с тех пор прошло без малого шестьдесят лет. Кажется, это был отрывок из поэмы Мицкевича в моем переводе да еще какие-то лирические стихи. Одно только отчетливо запечатлелось у меня в памяти. С первых же строк я почувствовал то серьезное, доброе внимание, которое сразу придало мне уверенность и позволило овладеть собой.

Когда я кончил, Горький сел со мною рядом, ласково похлопал меня по руке и стал расспрашивать, что я читаю, какие книги люблю, откуда взялся и где учусь.

И вдруг я почувствовал, что мне как-то удивительно легко и просто разговаривать с этим человеком, который еще вчера был для меня только именем и книгой. С таким пристальным вниманием слушал он, слегка пригнувшись ко мне, мою короткую историю. Можно было подумать, что для него нет ничего более интересного, чем жизнь мальчика, которого он увидел впервые.

Но тут в наш разговор вмешался Владимир Васильевич. Обняв меня за плечи своей большой рукой, он стал подробно рассказывать Горькому, что в последнее время я часто хвораю и Питер мне, по всей видимости, вреден.

Горький задумался, помолчал минутку, а потом спросил прямо и просто:

- Хотите жить в Ялте? Мы с Федором это устроим. Верно, Федор?

- Непременно устроим! - весело отозвался Шаляпин через головы окружавших его людей.

Прошел месяц-другой. И вдруг к нам за Московскую заставу, за Путилов мост, пришли три телеграммы: одна на имя отца и две - на мое.

Кажется, это были первые телеграммы, полученные мною в жизни. Обе от Горького из Ялты. До сих пор дословно помню их текст. Одна состояла всего из нескольких слов:

"Вы приняты ялтинскую гимназию подробно пишу _Пешков_".

Вторая была немного длиннее:

"Выезжайте остановитесь Ялте угол Морской и Аутской дача Ширяева спросите Катерину Павловну Пешкову мою жену _Пешков_".

Телеграмма, присланная отцу, была подписана: "Директор Готлиб". В ней сообщалась та же новость, но только в более официальной форме.

Имя директора было мне уже знакомо. Еще недавно этот крупный, осанистый человек с волнистой шевелюрой преподавал у нас в гимназии латынь.

Итак, все было решено. Оставалось собрать кое-какие веши и книжки и пуститься в новое странствование - к Черному морю. Почему-то в детстве мне казалось, что я увижу море, только когда вырасту. И вот оно уже на расстоянии всего каких-нибудь трех-четырех дней от меня. Что ж, может быть, я и в самом деле уже вырос и только не заметил этого?..

В поезде я почти не отходил от окна. Северные леса сменились полями и перелесками средней России, и на меня пахнуло знакомыми с детства местами.

Поезд неутомимо бежал из осени в лето. В белом каменном Севастополе меня впервые ослепили южное солнце и дробящая его лучи морская синь. Еще несколько часов на пароходе - настоящем, морском, с двумя палубами, сверкающими свежей краской и медью, - и вот уже перед нами Ялта: полукруг набережной, многоярусный город,

взбирающийся вверх по склонам гор, ржавые кудри виноградников и кипарисы, похожие на монахов, закутанных с ног до головы в темные плащи.

Объявляя о своем прибытии сиплым, нестерпимо-пронзительным гудком, пароход замедлил бег и, весь дрожа, стал боком-боком подбираться к молу. Винты его вспарывали морскую гладь, как бы выворачивая ее наизнанку. Теперь вместо переливчатой синевы между бортом и молом клубилась рваная, белая, шумная пена, блещущая на солнце цветными искрами.

В пестрой толпе приезжих сошел я по трапу на пристань и зашагал со своим легким багажом сначала по набережной, а потом по каменистой улице, идущей вверх. Все здесь было ново, неожиданно, - словно я не в настоящем городе, жилом, серьезном, деловитом, а где-то среди театральных декораций, праздничных, но временных. Так непохожи были на все, что я до сих пор видел, эти кружевные железные ограды, увитые плющом, уже забрызганным багряной краской осени, белые дачи с широкими балконами, нарядные сады с плотной, словно металлической, листвой лавров и длинными кистями лиловых глициний.

Вот наконец и дача Ширяева на углу Морской и Аутской.

Осторожно открыв железную калитку, я оказываюсь перед домом, сложенным из дикого камня, на площадке, окаймленной аккуратно подстриженным густым кустарником с мелкими жесткими листочками.

Поднимаюсь наверх, и на пороге меня встречает молодая женщина, легкая, энергичная, с гладко причесанными и все же пушистыми темно-каштановыми волосами. Лицо у нее как будто строгое, но губы чуть тронуты милой, приветливой улыбкой, и та же улыбка светится в глубине серо-зеленоватых - в темных ресницах - глаз.

Так вот она какая - Екатерина Павловна! В ней нет ничего кокетливого, нарочитого, дамского. И все-таки она кажется очень изящной, даже нарядной, несмотря на простоту ее платья и прически.

Пожав мою руку своей небольшой, крепкой рукой, она ведет меня в дом, весь пронизанный солнцем, морским ветром и сухим ароматом южного сада. Я иду за ней, еще не догадываясь, что эти несколько шагов ведут меня не только из комнаты в комнату, но и в другую пору моей жизни - из отрочества в юность.

Здесь, в горьковской семье, в этом морском городе, довелось мне встретить годы, предчувствием которых были овеяны знакомые нам издавна широкие строчки стихов:

"Над седой равниной моря ветер тучи собирает..."

Сюда вскоре после заключения в Петропавловской крепости приехал и сам Горький, заметно похудевший и от этого казавшийся еще выше ростом. В тюрьме он оброс короткой и жесткой рыжеватой бородой и стал чем-то похож на северного капитана-помора.

Да и весь горьковский дом напоминал в это время корабль, который еще стоит на приколе, но вздрагивает от каждой волны и все выше поднимается с нарастанием прилива.

Шел девятьсот пятый год - преддверье новой исторической поры, преддверье моей молодости.

ПРИМЕЧАНИЯ

В шестой том настоящего Собрания сочинений включены: книга "В начале жизни (Страницы воспоминаний)", статьи, выступления, заметки, воспоминания и проза разных лет {В составлении настоящего тома принимали участие члены комиссии по литературному наследию С. Маршака - Б. Е. Галанов, И. С. Маршак, Б. М. Сарнов.

Тексты произведений художественной прозы и примечания к ним подготовлены С. С. Чулковым, раздел "Статьи, выступления, заметки, воспоминания" и примечания к нему - Е. Б. Скороспеловой.}.

Раздел шестого тома "Статьи. Выступления. Заметки. Воспоминания" и седьмой том настоящего издания - книга "Воспитание словом" - составят наиболее полное

собрание статей, докладов, выступлений, заметок, воспоминаний писателя.

Наряду с известными статьями и выступлениями Маршака в томе широко представлено и его рукописное наследие.

В томе помещены рассказы и очерки писателя разных лет: ранние произведения, печатавшиеся в различных периодических изданиях 1911-1914 годов, и рассказы 1920-1930 годов, никогда не публиковавшиеся и сохранившиеся в рукописях.

В разделе "Приложение" даются наиболее значительные незавершенные работы Маршака, оставшиеся либо в трудночитаемых черновых автографах, либо в набросках; кроме того, в этом же разделе помещена авторизованная запись беседы С. Маршака с критиком Ст. Рассадиным о поэтическом мастерстве.

Материал в томе расположен в соответствии с жанрово-хронологическим принципом. Внутри каждого раздела произведения располагаются в хронологической последовательности - по времени их первой публикации, тексты, печатающиеся по рукописи, - по времени их написания.

В начале раздела помещены произведения, печатавшиеся при жизни автора, затем следуют произведения, публикуемые впервые.

Данные о времени написания приводятся в примечаниях; в тех случаях, когда даты проставлены самим автором, они даются в тексте.

Тексты произведений, опубликованных при жизни Маршака, печатаются по последним прижизненным изданиям; иные случаи оговариваются особо в примечаниях.

Произведения, не публиковавшиеся при жизни автора, печатаются по рукописям.

При публикации текстов по рукописям слова, зачеркнутые Маршаком, но необходимые по смыслу, взяты в прямые скобки, слова, прочитанные предположительно, даются в угловых скобках. В угловые скобки заключены и все названия произведений, которые даны не автором, а редакционной коллегией.

Почти все автографы, использованные в настоящем издании, хранятся в архиве поэта.

В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ

(Страницы воспоминаний)

Впервые в журнале "Новый мир", 1960, э 1 и 2.

Замысел большого произведения о своих детских и отроческих годах вынашивался Маршаком в течение многих лет.

Тема воспоминаний о детстве была близка писателю - одному из зачинателей советской детской литературы. В дорогих сердцу воспоминаниях Маршак как бы проверял свои наблюдения над жизнью ребенка, свое знание его внутреннего мира, психологии.

В самом начале творческого пути, когда еще не определились четко основные творческие интересы молодого литератора, - в 1911 году - Маршак напечатал два рассказа, темой которых послужили воспоминания об отроческих годах, проведенных в Острогожске - родном городе поэта. В рассказе "Полузабытое" ("Всеобщая иллюстрация", э 14-15, 10 апреля 1911 г.) был изображен мальчик-горбун, товарищ детства; в другом рассказе - "География" ("Всеобщий ежемесячник", 1911, э 3) - дан остросатирический портрет учителя географии острогожской гимназии Павла Павловича Селивановского.

Тот же мальчик-горбун появился на страницах рассказа, написанного Маршаком приблизительно в 1930 году; а учитель географии Павел Павлович предстал перед читателем в рассказе "Второгодник Баландин", созданном в то же время. Оба рассказа вместе с двумя другими ("Война трех дворов" и "Шура Ястребова") вошли в цикл рассказов, о детстве, задуманный в эти годы писателем.

Другие замыслы со временем оттеснили на второй план эту работу. В письме от 29

апреля 1940 года к острогожскому знакомому - однокашнику по гимназии - Г. Н. Яковлеву поэт признавался: "Я отлично помню Острогожск, хоть и уехал из него мальчиком. С Острогожском связано у меня очень много милых воспоминаний - о школьных товарищах, о некоторых учителях... Когда-нибудь, надеюсь, скоро, я напишу об этих далеких годах и тогда непременно пришлю Вам свои воспоминания". Но этому не суждено было сбыться вскоре: начавшаяся война нарушила многие планы поэта. Только через десять лет он возвратился к старому замыслу.

В 1951 году Маршак задумал создать автобиографическую повесть в стихах (о планах создания такой повести он писал в "Литературной газете" от 5 января 1952 года). Но со временем план меняется; вместо повести поэт пишет цикл стихотворений о своих отроческих годах, который под названием "Времена и люди (Из книги "Начало века")" печатает в декабрьском номере журнала "Новый мир" за 1954 год; в цикл вошли стихи "Владимир Стасов", "Начало века", "Молодой Горький", "Шаляпин", "Ялта" (см. т. 5 наст. изд.).

Опубликовав цикл стихов "Времена и люди", Маршак не отказался от старого замысла, большого произведения о своем детстве. Теперь работа идет над повестью в прозе; она активизируется в 1956-1957 годах в связи с подготовкой четырехтомного собрания сочинений поэта, в четвертый том которого по плану издания должна была войти новая повесть. Уже в октябре 1957 года Маршак сообщил острогожским пионерам, что он закончил "первую часть автобиографической повести". Однако на окончательную отделку повести понадобилось еще два года, и лишь в августе 1959 года Маршак, наконец удовлетворенный результатами работы, передает рукопись повести в журнал "Новый мир".

В 1959 году в двухтомнике автобиографий советских писателей Маршак поместил несколько фрагментов из повести (текст публикации несколько отличается от журнального текста). В публикацию вошел также отрывок, впоследствии не включенный в повесть (см. кн.: "Советские писатели. Автобиографии в 2-х частях", ч. 2, Гослитиздат, М. 1959, стр. 43-44).

Название повести "В начале жизни" имеет подзаголовок: "Страницы воспоминаний", указывающий на наличие мемуарного Элемента в беллетристическом художественном произведении. В письме к другу детства М. А. Канцер (от 28 декабря 1959 г.) писатель подробно охарактеризовал своеобразие повести; "...В этом году (в 1960 г. - С. Ч.) будут печататься страницы моих воспоминаний о детстве. Это не хроника, не фотография реальных событий, а нечто вроде повести, где поэтический вымысел окрашивает действительность. Имена людей, как и некоторые подробности их быта, изменены. Ведь я пишу о событиях, которые были около шестидесяти лет тому назад, и то, что утеряла память, надо было восполнить воображением. Больше всего мне хотелось правдиво передать время и мир чувств, которыми жил мой лирический герой". В другом письме к М. А. Канцер - уже после выхода в свет первой части повести - 15 января 1960 года Маршак вновь подчеркнул, что время и события описаны "не протокольно, а с той беллетристической свободой, без которой невозможно художественное обобщение". "Мне хотелось передать колорит времени, - писал Маршак, - и это было главной моей задачей".

В письме к венгерским друзьям Анталу и Агнессе Гидаш (от 27 июля 1963 г.) Маршак заметил, что книга "В начале жизни" "не мемуары, а попытка увидеть себя на фоне пережитой эпохи (или эпох) и проследить почти неуловимые переходы от возраста к возрасту".

"Мне нужно было художественное обобщение фактов, а не их буквальная мемуарная - точность", - писал Маршак к М. А. Канцер о своих творческих принципах при создании повести о детстве. В письме к М. Канцер от 15 января 1960 года (в повести она изображена под именем Маруси Гришанивой) поэт признавался: "Я и Вам - приписал черты и факты, которых, может быть, в действительности не было. Я пишу о том, что было шестьдесят лет тому назад, и за это время реальное перемешалось в памяти с воображаемым". Однако к этому признанию следует отнестись с некоторой осторожностью: писатель явно преувеличивает свою запамятливость. С другой стороны, по многим его письмам к друзьям, землякам и по записям, сохранившимся в его архиве, видно, с какой тщательностью собирал Маршак материал для повести, отнюдь не полагаясь лишь на свою память.

Примечательно, что уже после выхода повести в свет Маршак получил от одного читателя письмо с указаниями на ряд неточностей в описании биографии учителя словесности Н. А. Поповского. Писатель незамедлительно внес соответствующие

исправления в текст очередного издания книги.

В 1960 году повесть "В начале жизни" была напечатана четвертом томе собрания сочинений поэта. В 1961 году она была издана отдельной книгой с иллюстрациями художника Г. Филипповского издательством "Советский писатель". Для этого издания Маршак еще раз просмотрел текст повести, внес немало стилистических исправлений, сделал ряд сокращений, мелких уточнений по содержанию. Последний раз Маршак редактировал текст своей книги во время подготовки ее к изданию в издательстве "Детская литература" в 1962 году.

Во многих письмах к друзьям и читателям Маршак не раз говорил о своем заветном, желании продолжить книгу о школьных годах. Изданную повесть он называл первой частью большого произведения о своей юности. "Очень хотелось бы мне, - писал он к читателю Г. М. Свариновскому в письме от 30 ноября 1961 года, - продолжить, повесть о прожитых годах. Если позволят силы (в последнее время я много и часто болею), буду писать дальше, хоть задача у меня будет посложнее и потруднее". Во второй части книги. Маршак намеревался описать свою жизнь в семье А. М. Горького в Ялте, бурные революционные события 1905 года в Крыму, свидетелем которых он был сам.

Повесть была переведена на иностранные языки: она напечатана в Польше, Болгарии, Англии, США, Японии и других странах.

Эпиграф к повести - первая строка стихотворения А. С. Пушкина 1830 года (без названия). - См.: А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений, т. 3, Изд-во АН СССР, М. 1948, стр. 254.

1 14 февраля 1901 года студент П. Карпович совершил покушение на министра просвещения П. П. Боголепова и тяжело ранил его. Через несколько дней министр умер: Боголепов ввел так называемые "Временные правила", по которым министр просвещения мог отдать участников студенческих волнений в солдаты. Студенчество ненавидело Боголепова - организатора системы полицейского сыска и надзора над учащимися.

2 Цитата из книги воспоминаний Ф. И. Шаляпина "Страницы из моей жизни". См. сб.: "Федор Иванович Шаляпин", т. I, "Искусство", М. 1957, стр. 153.

3 Петербургская 3-я гимназия находилась на Гагаринской улице (ныне улица Дм. Фурманова).

4 "Приключения Макса и Морица" - юмористическая повесть в стихах "Макс и Мориц" (1865) немецкого поэта и художника Вильгельма Буша (1832-1908) о веселых, а иногда жестоких шалостях двух сорванцов. Впервые переведена на русский язык в 1890 году. Переводы С. Я. Маршака из В. Буша см. в т. 4 наст. изд.

5 В конце 1902 года А. М. Горький возглавил товарищеское издательство "Знание".

6 Имеется в виду картина художника А. А. Наумова (1840-1895) "Некрасов и Панаев у больного Белинского" (1882).

Печатается по тексту книги: С. Маршак, В начале жизни (Страницы воспоминаний), Детгиз, М. 1962.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://marshaksamuil.ru/ Приятного чтения!
http://buckshee.petimer.ru/ Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
http://petimer.ru/ Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://filosoff.org/ Философия, философы мира, философские течения. Биография
http://dostoevskiyfyodor.ru/
сайт http://petimer.com/ Приятного чтения!